

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ



ПОСЛЕДНИЙ
НОВИК

Иван Лажечников
Последний Новик

«Public Domain»

Лажечников И. И.

Последний Новик / И. И. Лажечников — «Public Domain»,

В историческом романе известного русского писателя И.И. Лажечникова «Последний Новик» рассказывается об одном из периодов Северной войны между Россией и Швецией – прибалтийской кампании 1701–1703 гг.

© Лажечников И. И.

© Public Domain

Содержание

ЧАСТЬ 1	5
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	18
Глава четвертая	22
Глава пятая	28
Глава шестая	34
Глава седьмая	41
Глава осьмая	50
Глава девятая	55
Глава десятая	61
Глава одиннадцатая	71
ЧАСТЬ 2	81
Глава первая	81
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Иван Лажечников

Последний Новик

ЧАСТЬ 1

Глава первая Вместо введения

Вот новость для меня! – Да кто же тот шалун,
Кто смел, без моего и плана и совета,
Всю важность поддержать столь трудного сюжета?
Тут надобен язык, приятный, легкий слог!
Спросил бы у меня – и я б ему помог!

Комедия «Говорун», Хмельницкий

Долго страдала Лифляндия под игом переменных властителей, пока не достигла нынешнего своего благосостояния. То рыцари немецкие, искавшие иные опасностей, славы и награды небесной, другие добычи, земель и вассалов, наступили на нее, окрестили ее мечом первые ознакомили бедных ее жителей с именем и правами господина, с высокими замками, данью и насилиями; то власти, ею управлявшие, духовные и светские, епископы и гермейстеры, в споре за первенство свое, терзали ее на части. То русские, считая ее искони своею данницею, нередко приходили зарубать на сердце ее древние права свои или поляки и шведы, в борьбе за обладание ею, душили первые силы ее общественной жизни. Война железною рукою повела ее вдоль и поперек всеми бедствиями своими. Вера без верования, с примесью идолопоклонства, невежество, бесчеловечие, самоуправство означили время существования Лифляндии до начала XVII века. Изредка оживлено было это время проблесками великих характеров – и цветущей торговли, прибавил бы я, если бы богатства ее придали тогда что-нибудь ее просвещению, а не послужили, как это случилось, к усилению ее развратной роскоши.

Только с именем Густава-Адольфасоединяется воспоминание всего прекрасного и великого; он, в одно время защищая свободу мнений и подписывая устав Дерптского университета, бережно снял кровавые пелены с Лифляндии и старался утешать ее раны. Но счастье ее было кратковременно. Дочь Густава, этот феномен ума и странностей, хотела только собирать дань удивления чуждых народов, а не любовь своего. Христина, покровительница ученых, отняла у Дерптского университета его земли; она хвалилась любовью к человечеству и за новые жертвования страны отдала ее новыми налогами. Вслед за тем нивы лифляндские были истоптаны победами русских (при царе Алексее Михайловиче). Мир в Кардисе возвратил это спорное пепелище шведам, но не водворил в него долговременного спокойствия.

С царствованием Карла XI настали самые черные годы для лифляндского дворянства. Желая поправить расстроенные финансы Швеции, он повелел редукцию имений, принадлежавших некогда правительству и правительством же подаренных частным лицам в потомственное владение во времена епископов, гермейстеров и королей. На этот предмет учреждена была комиссия. Рассуждению ее подлежало также узаконение великое и благотворное, за которое надлежало бы человечеству благословлять память государя, творца этого узаконения, если бы оно не смешивалось в одно время с своекорыстными видами. К тому же меры и способы исполнения были приняты несправедливые, насильственные и жестокие; исполнители преступили волю государя – и цель самых благотворных видов правительства была потеряна. В поздней-

шее время предоставлено было миротворцу Европы сделать важный приступ к соглашению человеколюбия с сохранением прав собственности, к сближению враждующих между собою одного класса народа с другим, и тем собрать на себя еще при жизни, посвященной счастьем великой империи, благословения лифляндских помещиков и земледельцев. Не так действовал своекорыстный Карл XI. За ужасными словами: редукция и ликвидация последовало дело, и отчины, без всякого уважения давности и законности, были отрезаны и отписаны на короля. Из шести с лишком тысяч гаков, бывших во владении частных лиц, с лишком пять тысяч были взяты в казну, тысяча с небольшим оставлены владельцам и при церквях. Против начетов этих трудно было спорить: их составлял любимец Карла, председатель редукционной комиссии граф Гастфер, запечатлевший имя свое в летописях Лифляндии ненавистью этой страны; их утвердил сам государь, хозяин на троне искусный, хотя и несправедливый, который, подобно Перуну, имел золотую голову, но держал всегда камень в руках.

Оставалось угнетенным просить: они это и сделали, послав к королю от лица дворянства лифляндского депутацию с трогательным адресом о смягчении, хотя несколько, приговора его. Ответом были новые унижения. К большому несчастью их, один из членов депутации, Иоган Рейнгольд Паткуль, увлеченный красноречием правды и негодования, пылкостью благородного нрава и молодых лет [ему было с небольшим двадцать лет], незнакомых с притворством, осмелился обвинить любимца королевского, Гастфера, в преступлении данной ему свыше доверенности. Паткуль осужден к отсечению правой руки, лишению имени, чести и жизни, а товарищи его: Фитингоф, Менгден и Буденброк – только к смерти. Вскоре приговор трем последним был заменен вечным заключением; наконец дарована им свобода. Первый же успел бежать от наказания в Швейцарию, где прожил несколько лет под чужим именем. Между тем в отечестве его бедность и отчаяние во многих семействах были неизъяснимы: вспыхнул ропот, тайными путями перебежал по мызам и – погас со вступлением нового государя на престол шведский. Добрые лифляндцы умели терпеливо ждать у моря погоды.

В таком состоянии застал страну эту Карл XII, о котором сказать можно, что он рожден быть полководцем, но ошибкою судьбы призван царствовать. Вскоре от Бельта до Вислы развеялись победоносные знамена его. Под эти призывные знаки чести спешили завербовать себя молодые лифляндские дворяне, забыв угнетения шведского венца и горя жаждою вновь запечатлеть кровью своею благородство рыцарского происхождения, которому ни предки, ни потомки их не изменяли. Отцы новобранцев, отпуская к королю живые залогов преданности к нему Лифляндии, казалось, вверяли его великодушию свои и отечества надежды. Но двадцатилетний герой, окруженный восторженными раннею его славою офицерами и солдатами, переходя от торжества к торжеству, грезил только победами и мало заботился об утешительных ожиданиях своих подданных. Хотя и обещал он в 1700 году облегчить участь лифляндских помещиков, однако ж не думал никогда выполнить это обещание. Еще не забыта им была депутация 1692 года, обступившая трон отца его просьбами, похожими на требования, не забыт еще был смелый и красноречивый голос Паткуля. Он знал, что этот гордый лифляндец, унеся из-под секиры палача руку и буйную голову свою, служит тою и другою опаснейшему его неприятелю, – и поклялся в лице его унижить лифляндских дворян его партии и отметить ему, хотя бы ценою славы собственной.

Провидению угодно было, чтоб на пути храбрых замыслов Карла остановил его соперник, явившийся с неожиданной стороны. Это был наш Петр I. Помня слова великого предка своего «А Лифляндские земли не перестать нам доступать, докудова нам ее бог даст» [Грамота царя Иоанна Васильевича к Ягану королю Свейскому 1573/7081 января 6/18. Смотри Древнюю Вивлиофику.] и желая стать твердою ногою на берегу Балтийского моря, чтобы сзывать в свое отечество богатства и просвещение Европы, он бросил Карлу перчатку будто за оскорбление, сделанное ему рижским комендантом Дальбергом. Где ближе было им разведаться, как не в стране, которую оба они почитали своею отчиною? Здесь-то преобразователю России опре-

делено было получить от царственного учителя своего жестокий урок и здесь же показать, с каким успехом он им воспользовался. «Я знаю, – говорил он после нарвской потери, – что шведы будут бить нас еще раз несколько, но теперь мы ученики их придет время, что мы их побеждать будем».

Карл приезжал, казалось, под Нарву выиграть заклад. Отважный, но слишком самонадеянный и мало рассудительный, вместо того чтобы воспользоваться успехами своими и укрепиться в Лифляндии, он посвятил зиму в Лаисе забавам звериной охоты, побил мимоходом саксонцев под Ригию и отправился в другой край Европы пощеголять своей непобедимой армией, как дитя полученною им в дар острою саблею, которою в первый раз владеет и спешит рубить все, что ему навстречу попадется. Не так действовал противник его он пользовался временем отдыха, данного ему соперником счастливым, чтобы созидать войско и флот. Уже в конце 1701 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, с остатками полков, уцелевшими от лозы шведского героя, и с корпусами, вновь образованными, сторожил от Пскова лифляндскую грань. Схватками с малочисленными отрядами неприятеля знакомил он понемногу русского солдата с его силами, с потехою военных удач и воспитывал дух его к будущим победам. Уже зародыши русского флота брали смелость выходить из заливов Чудского озера и разгульем мимо шведской флотилии, притаившейся в устье Эмбаха, вызывать ее на чистую воду.

Сыну военачальника предоставлено было открыть кампанию: близ этого озера, под мызою Рапин, волонтер Михайла Борисович Шереметев разбил четвертого сентября 1701 года передовой отряд шведов. Потом сам фельдмаршал – в ответ на упрек своего государя: «Полно отговариваться, пора дела делать!» – отпраздновал первый день 1702 года первую знаменитую победой при Эррастрфере, заставившей Петра I сказать: «Благодарение богу! мы уже до того дошли, что шведов побеждать можем». Остальные месяцы зимы и всю весну военачальник осторожно высматривал силы неприятеля, выжидал их раздробления как последствия разносторонних слухов, лукаво пущенных в становья шведские, и, показывая некоторую робость, надеялся усыпить северного льва у ворот самой Лифляндии. Может быть, Шереметев – распорядитель и герой в поле, Фабий или Кутузов тех времен – простер эту осторожность слишком далеко и мог бы потерять плоды своих соображений, если б имел противника более сметливого и смелого, нежели каков ему дан был Карлом XII.

Мы видели, что нетерпеливый характер государя разогрел душу военачальника упреком. Четыре слова кстати – и в этих словах заключалась победа. Шереметев доказал, что достоин понимать их, что имеет все качества хорошего военачальника, и потом, опять увлеченный умом осторожным, холодным, погрузился в соображения, благоразумные, полезные, это правда, но уже слишком долго выдерживаемые. На этот раз полководец выведен был из бездействия внушениями Рейнгольда Паткуля, генерал-кригскомиссара и ближайшего советника его.

Надо оговорить, что Паткуль, приговоренный к казни, бежал из Швеции на берега Женевского озера. Оттуда, скучая праздною неизвестностью, перешел ко двору польского короля и неприятеля Карла XII, Августа, но, и при этом государе, вялом, ненадежном, неславолюбиво, найдя круг действий своих тесным, вступил в службу к Петру I. Скоро исполинские дела, простота, твердость и величие души русского царя привязали к нему навсегда благородного лифляндца. С другой стороны, тому, кому нужно было все вновь творить в России, любившему, чтобы между мыслью его и исполнением не было холодных промежутков, часто уничтожающих самые лучшие намерения, нужны были и люди с пылким, предприимчивым характером. Он скоро полюбил нового своего подданного, умевшего понять его. Можно сказать, что Паткуль был достоин всей вражды Карла и доверия Петра: оба чувства эти умел он равно питать, равно оправдывать. При дворе нового государя своего он был хитрый, проницательный министр, быстрый исполнитель его видов, вельможа твердый, хотя иногда слишком нетерпеливый, не знавший льстить ни ему, ни любимцам его, выше всего почитавший правду и между

тем неограниченно преданный его выгодам и славе. Политические расчеты Паткуля, последствиями оправданные, доказывают, каким дальновидным умом он обладал. Он первый утвердил русского монарха в мысли завоевать для себя Лифляндию: он видел, что исполнение мысли этой было не по силам колебавшегося духом Августа и что одному Петру можно было сдержать и понести ее на исполинских раменах своих. С каким восторгом, развертывая перед Великим план свой, прочел он в одном его взоре отпадение родного края от Швеции и присоединение его к возраставшему могуществу России. Этим гениальным взором Паткуль был уже отмщен за наследственные оскорбления двух шведских королей.

Вывожу его на сцену моего романа в одну из занимательных эпох его жизни: здесь-то он всего себя посвятил мщению, чувству, которое господствовало в нем над высокостью помыслов и деяний и, может статься, было единственным их источником. Не только рукою действует он против отрядов шведских, он работает сердцем и головой, приводит в движение все сокровенные пружины ухищренной политики, даже не всегда разборчивой, чтобы подрывать основание шведского могущества. Для достижения своей цели изыскивает он все средства и ни одного не отвергает. Часто действия свои сопровождает чудесностью; досажая делом врагам, он любит еще посмеяться над ними смелыми проказами, нередко приводящими его жизнь и честь в опасность, от которой только имя его, дорогое патриотизму, изобретательный ум и преданные друзья могут его освободить.

На границе псковской, в середине Лифляндии, Паткуль имеет друзей, преданных, подкупленных, обольщенных, ему усердно содействующих; в знатнейших домах лифляндских агенты и лазутчики его всякого звания неусыпно обо всем разведывают и передают ему сведения о движениях шведов и замыслах их партий. Не многочисленные, но верно избранные, хитрые, благоразумные, испытанные в верности к нему, они свили гнездо врагов для Швеции в сердце самой Лифляндии. Осторожно разбужено ими чувство прав собственности, сие непобедимое в человеке чувство. Уже шепчет оно мщению, что час его настал. Сначала робко вкрадывается неудовольствие в дворянские дома; потом, усиливаемое войною без цели, без пользы для отечества, смелее говорить начинает в гостиных. Политика занимает всех: военных, студентов, женщин, купцов, духовных. Судят о действиях шведского правительства, начинают и осуждать их. Недоверие, потом некоторая холодность возрождаются между шведами и лифляндцами. Благоразумнейшие из последних предугадывают уже, что самое положение Лифляндии, отделяя ее морем от Скандинавского полуострова, должно, рано или поздно, прикрепить ее нравственно к России, как она физически прикреплена к матерiku ее. Они видят, что Карл явно пожертвовал отечеством их своенравному героизму; но предпочитают остаться верными законному правительству и предоставляют жестокостям войны решить судьбу их и выбор нового владыки. Многие, даже из почитателей короля, идут уже за торжественной колесницей его, как за великолепной похоронной процессией. Одна молодежь не охлаждается в энтузиазме к нему и готовится в честь его переломить не одно копьё.

В эти смутные времена Лифляндии генерал-вахтмейстер Шлиппенбах, главный начальник шведских войск, оставленных на защиту Лифляндии, беспечно расположился на квартирах от Сагница до Гельмета. Небольшим конным отрядом наблюдал он близ Розенгофа, на берегу Шварцбаха, дорогу от Новгородка Ливонского (Нейгаузена), готовый протянуть крыло свое в помощь Дерпту или Риге либо, в случае неудачи, обезопасить себя уходом в одну из этих крепостей. Силы его ослаблены гарнизонами в них и несогласием начальников. Между тем, ободренный осторожностью русского полководца, которая начинала казаться ему робостью, решился он неожиданно напасть на него в нейгаузенской долине и тем загладить стыд Эррастферской битвы.

В таком состоянии, к первым числам июля 1702 года, были дела Лифляндии, колеблемой, как дерево, опаленное грозой и вновь оспариваемое противными ветрами. Последними тяжкими опытами должна она была испробовать свое будущее благосостояние.

Вот несколько слов, необходимых для пояснения происшествий, о которых я рассказывать намерен.

На случай вопроса, почему избрал я сценой для русского исторического романа Лифляндию, которой одно имя звучит уже иноземным, скажу, что ни одна страна в России не представляет народному романисту приятнейшего и выгоднейшего места действия. Крым, Кавказ выигрывают, в сравнении с Лифляндией, красотами местной природы, но теряют перед ней историческими воспоминаниями. В палладиумах наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими. Другие края России бедны или историей, или местностью; но в живописных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и Бельтарусский напечатлел неизгладимые следы своего могущества. Здесь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы; здесь русский воин положил на грудь свою первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему богом над образованным европейским солдатом; отсюда дивная своею судьбою и достойная этой судьбы жена, неразлучная подруга образователя нашего отечества и спасительница нашего величия на берегах Прута; здесь многое говорит о Петре беспримерном. Вот причины моего предубеждения к Лифляндии! Эррастфер, Гуммельсгоф, Мариенбург, Канцы, Луст-Эланд – ныне имена мест, едва известные русским, между тем как в них происходили те великие явления, о которых идет дело. К этим-то местам хотел бы я пробить свежую, цветистую дорогу; хотел бы, чтобы любовь к народной славе, посещая их, с гордостью указывала на них иноземцу и чтобы сердце русского билось сильнее, повторяя их имена. Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне. В краю чужом оно отсвечивается сильнее; между иностранцами, в толпе их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская народная физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем или судьбой влекутся необоримо к России. Везде родное имя торжествует; нигде не унижено оно – без унижения, однако ж, неприятелей наших того времени, которое описываю. Вот чего хотел я достигнуть, помещая героя моего в Лифляндии!

Доволен буду, если решу задачу, предложенную мне сердцем, и вместе доставлю моим читателям приятное провождение времени.

Глава вторая

Долина мертвецов

И стала та страна с тех пор
Добычей запустенья
И все как мертвое окрест:
Ни лист не шевелится,
Ни зверь близ сих не пройдет мест,
Ни птичка не промчится
Но полночь лишь сойдет с небес -
Вран черный востепенится,
Зашепчет пробужденный лес,
Могила потрясется,
И видится бродяща тень
Тогда в пустыне ночи...

«Двенадцать спящих дев», Жуковский

На пути от Мариенбургак Менцену (иначе названному Черною мызою) останавливаясь не раз любоваться живописными видами, обстающими вас с седьмой версты и преследующими за Ней-Розенгоф. Дорога большею частию идет по горам и между гор, разнообразных, как игра воображения. То протягиваются они в прямой цепи, подобно волнам, которых ряды гонит дружно умеренный ветер; то свивают эту цепь кольцом, захватывая между себя зеленую долину или служа рамой зеркальному озеру, в котором облачка мимолетом любят смотреться; то встают гордо, одинокие, в пространной равнине, как боец, разметающий всех противников своих и оставшийся один господином поприща; то пересекают одна другую, забегают и выглядывают одна за другой, высаятся далее и далее амфитеатром и, наконец, уступают первенство исполину этих мест, чернеющему Тейфельсбергу. Почти каждая гора имеет свой особенный вид, свою привлекательность. На острой конечности одной стоит роща букетом, по другой разлилась, как по шлему, косматая грива; третью черный сосновый бор оградил стеной зубчатой. Там кустарник окудрявил голову горы; здесь обвил ее венцом или смело вполз на нее в разных кривизнах. Эту картину оживляют разостланные по отлогостям полосы яровой зелени или золотой жатвы, красивые мызы с их розовыми кровлями, гордо озирающие окрестность, рассыпанные там и сям одинокие хижины, которые лепятся к бокам гор, как ласточкины гнезда, или стоят смиренно за щитом подножия их с частоколами и овощными садами. Почти во всю дорогу до Менцена (тридцать шесть верст) не перестает оглядываться на вас кирка оппекаленская – будто провожает и охраняет вас святыней своей от нечистого духа, который, по словам народа, поселился с давних времен на Тейфельсберге (Чертовой горе) и пугает прохожих только ночью, когда золотой петух оппекаленского шпиля из глаз скроется. Вид с высоты Ней-Лайтценской мызы очарователен: панорама ее на несколько десятков верст обставлена разнообразием гор, озер, рощ и селений. С трудом отрывается путешественник от этого места. Немного далее за мызою горы понижаются и заменяются скучным лесом и болотцами; но при появлении речки Вайдау, у грани, стоящей на мосту ее и разделяющей уезды Верровскийот Валкского, природа дарит вас приятностями уединенных долин, обведенных извилинами этой речки и образуемых провожающими ее двумя цепями холмов. Всех приятнее долина близ мызы Ней-Розенгоф (в недавнем еще времени называемой Катериненгоф).

В начале XVIII столетия, по дороге от Мариенбурга к Менцену, не было еще ни одной из мыз, нами упоминаемых. Ныне она довольно пуста; а в тогдашнее время, когда война с рус-

скими наводила ужас на весь край и близкое соседство с ними от псковской границы заключало жителей в горах, в тогдашнее время, говорю я, едва встречалось здесь живое существо.

Несмотря на эти опасения, в одно из первых чисел июля 1702 года, в некотором расстоянии от появления речки Вайдау, пробиралась сквозь мрачный лес красноватая карета, запряженная двумя рыжими лошадками. День был жаркий. Полуденное солнце, в одинаком величии своем протекая по голубой степи неба, на котором ни одно завистливое облачко не смело заслонить его, лило горящие лучи свои прямо на темя земли. Ленивый ветерок пересекал эти лучи по временам и только на мгновения обдувал раскаленную ее поверхность. Расслабленная природа, казалось, потеряла движение: едва струились изредка верхи деревьев; неохотно переливались волны зреющей жатвы; медленно текли воды, как будто потоки растопленного хрусталя. Все живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя. Птицы прятались в рощах и на дне густых нив; стада бежали в воды, а где воды не было, бедные животные, оцепенев, с поникнутыми головами, одно в тени другого, искали малейшей прохлады.

С трудом ползла карета сквозь пески, нередко попадающиеся на пути. По щегольской отделке ее, особенно заметной в золотых обводках с узорами около огромных рам в виде несомкнутой цифры восемь, в золотых шишках, украшающих углы империала, в колонцах по двум передним углам кузова и розовом венке в голубом поле, изображающем на дверцах герб ее обладателя, можно было судить, что она принадлежала зажиточному барону. Две рыжие лошадки, эзельской породы, по-видимому сильные, почти отказывались тащить ее; шоры на них были взмылены. Колеса экипажа едва вертелись, погружая ободья свои в песчаную топь. Не видно было, кто сидел в нем, потому что розовые шелковые шторы были опущены. Кучер, в треугольной шляпе, нахлобученной боком на глаза, в кафтане, которого голубой цвет за пылью не можно бы различить, если бы пучок его, при толчках экипажа, не обметал плеч и спины, то посматривал с жалостью на свою одежду, то с досадою сгонял бичом оводов, немилосердно кусавших лошадей, то, останавливая на время утомленных животных, утирал пот с лица. Заметно было, что жалостный возничий мучился за себя и за них. По правую сторону кареты ехал верхом на тощем, высоком коне офицер, под пару ему долговязый и сухощавый. На нем был мундир синего цвета; треугольная шляпа, у которой одна задняя пола была отстегнута, кидала большую тень на лицо, и без того смуглое; перчатки желтой кожи раструбами своими едва не доставали до локтя; к широкой портупее из буйволово́й кожи, обхватывавшей стан его и застегнутой наперед четверугольной огромной медной пряжкой, привешена была шпага с вальжным эфесом, на котором изображены были пушка дулом вверх и гранаты; кожаные штиблеты с привязными раструбами довершали эту фигуру. Если бы не двигалось под нею высокое животное, она по важности своей походила бы на монумент. Офицер был в полном вооружении: ручки пистолетов торчали из чушек; к седлу прикреплен был карабин. Путешественники погружены были в глубокое молчание. Наконец возничий прервал его, сначала глубоким: уф! потом, видя, что это восклицание не имело желаемого действия, униженно снял шляпу и, обратившись к офицеру, сказал:

– Воля ваша, господин цейгмейстер...

– Сначала покройся, не то испечешь лысую голову твою, как яйцо, а потом начинай свою речь, – перехватил его важным голосом путешественник, ехавший верхом.

Кучер опустил шляпу в знак благодарности, потом надел ее и продолжал:

– Воля ваша, господин цейгмейстер, мои лошади не горшки, а я не горшечник, чтобы их жарить в этом пекле. Госпожа баронесса настрого приказала побережь их, во-первых, потому, что она любит всех животных, от лошади до кошечки, от попугая до чижика, как вы изволите знать; во-вторых... эка бестия овод сел на самый крестец Арлекина!... эти зверьки привезены с острова Эзеля на большом судне, как, бишь, его звали?

Кучер наморщился и поколотил себя пальцем по лбу, как бы выбивая оттуда память.

– Мимо название! потом?

– Потом они подарены баронессе дядей жениха...

– Фюренгофом?.. Неужели он в жизнь свою хоть раз дарил?

– Был с ним этот промах! Поохал, может статься, ночек с сотню, да с конюшни нашей воротить рыжаков уж было нельзя. Что к нам попало, то пропало. О чем, бишь, я говорил? да! об рыжаках. Вот видите, они подарены баронессе нашей дядей жениха нашей молодой госпожи... смекаете, сударь... госпожи, которую, как вы знаете, господин цейгмейстер... (увидя, что овод кусает лошадь) собака! кровопийца! перелетел на Зефирку!.. которую, заметьте, она любит, как самое себя, или себя в ней любит (из кареты послышался хохот, да и на лице угрюмого офицера мелькнула усмешка; однако ж начавший речь, не смешавшись, продолжал). Но я сам им не злодей, то есть рыжакам, Арлекину и Зефиру; говорю то есть, чтобы ваша милость не подумала, что я говорю о баронессе или о ком-нибудь из почтеннейшей фамилии Зегевольдов. Нет, я им не только не злодей, но люблю их и уважаю, во-первых...

– Ни первых, ни вторых, пустомеля! Твои слова как татары в сражении: рассыпаются в стороны так, что наш рейтарне знает, которого и как настигнуть. Думает уловить под палаш одного, а попадается другой. Без обиняков, скорее, к делу.

– Я хотел сказать, что лошади устали.

– Ну!

– Да уж они и нуканья не слушают, сударь. Мы проехали от Мариенбурга (тут кучер начал считать что-то по пальцам), да! именно, на этом мостике ровно четыре мили, что мы проехали. До Менцена еще добрая и предобрая миля; будут опять пески, горы, косогоры и бог знает что. Вздохните хоть здесь, на мосту, бедные лошадки, если уж к вам так безжалостливы. И пушке в сражении дают отдых, а вы все-таки создание божье!

– Ты с ума сошел, Фриц! Да кто ж, доннерветтер [черт возьми – от нем. – Donnerwetter], мешает нам остановиться в ближайшей долине и покормить лошадей?

В это время одна из розовых штор у правого окна кареты поднялась, и ручка, которой удивительную белизну позволяла видеть спущенная по кисть перчатка и короткий, не доходивший до локтя рукав, по моде тогдашних времен, опустила стекло. Молодая прелестная женщина выглянула из окошка и, подозвав к себе рукой офицера, шепнула ему:

– Ради бога, Вульф, упрсите господина пастора остановиться в долине, о которой я вам на днях рассказывала.

Офицер не отвечал ничего, но кивнул дружески в знак согласия, остановил своего коня, неуклюжего и неповоротливого; потом, дав ему шпоры, повернул к левой стороне кареты, наклонился к ней и осторожно постучался пальцами в раму. В ответ на этот стук выглянуло из окна маленькое сухощавое лицо старика со сверкающими из-под густых бровей серыми глазами, с ястребиным носом, в парике тремя уступами, рыже-каштанового цвета, который, в крепкой дремоте его обладателя, сдвинулся так, что открыл лысину вразрез головы.

– Я слышал все сквозь дремоту, – сказала это новое лицо, поправляя свой парик, – и одобряю от души Фрицево желание и ваше согласие, любезный господин цейгмейстер. Мне самому так жарко, как бы я принял потогонительное. Да где ж вы думаете остановиться?

– В долине, напротив которой стоит на горе крест, – отвечал офицер, – лучшего места для отдыха нельзя найти до Менцена.

Улыбка бежала уже на губы Фрица, но он не дал ей вылиться наружу.

– В Долине мертвецов, господин пастор? помилуйте! – закричал он с ужасом, вытянув шею, как испуганный журавль, стоя на часах.

Молодая женщина засмеялась от души; пастор с улыбкой произнес:

– Давно ли стали мы так трусливы, Фриц? и что за новую сказку сплели здешние жители? – Потом он присовокупил вполголоса, качая головой и уставя перед маленьким лбом указательный палец правой руки. – Какое-нибудь старое поверье, грубое невежество! остатки идолопоклонства! Так! церковь далеко – духовный пастырь также. Надо придумать, как это

вывести; надо разобрать это, взять меры, средства. Это наша обязанность, наш долг! Всего лучше прибрать сильный текст из «Латышской Библии», мною изданной [Глику, вместе с рижским суперинтендентом Фишером, обязана Лифляндия переводом Библии на латышский, начатым в 1680 году и конченным в восемь лет]. Но речь не о том: расскажи-ка, Фриц, откуда выкопал ты название этой долины?

– Сказкой своей ты сократишь нам путь до назначенного места, – примолвила сидевшая в карете.

– Опять-таки до назначенного места, – отвечал угрюмо кучер, – вы все шутите, фрейлейн. Хорошо еще, что мы едем в полдень; другое бы заговорили, кабы проезжали Долину мертвецов ночью до кочетов. Тогда в ней деются такие чудеса, что и... кого бы назвать бесстрашнее всех?.. да, например, кто бесстрашнее шведского офицера?.. и у того, с позволения сказать, господин цейгмейстер, побегут мурашки по коже, когда увидит бесплотного барона этой долины. Осмеюсь вам поперечить, господин пастор, – со всем уважением к вашему сану, – это не сказка, не выдумка, а... (озирается со страхом кругом и вглядывается пристально в густоту леса) я доложу вам, во-первых, о том, что видел своими глазами. Вы знаете, что я не люблю труса праздновать.

– Знаем, знаем! – закричали в один голос духовный отец и военный. – Но бывают сверхъестественные силы... – прибавил с притворным ужасом последний, давая пастору знак головой, чтобы он подтвердил его слова.

– Конечно, бывают... мы сами не можем вовсе отвергнуть, чтобы...

– Чтобы, любезный папахен, вы не сговорились с любезным братцем попугать меня, – возразила девушка, лукаво улыбаясь. – Это вам не удастся. Может быть, приличнее мне, женщине, бояться. Вульф это часто твердит и дает мне в насмешку имена мужественной, бесстрашной; но он позволит мне в этом случае вести с ним войну, чтобы не быть в разладе с моею природой. Рабе останется тем, чем была еще дитею.

– Речь не о том, – прервал с некоторым нетерпением пастор. – Послушаем, что расскажет нам вожатый наш в царство теней.

– Готовы слушать! – вскричали в один голос офицер и девушка.

– Прошу всепокорнейше внимания, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, – произнес важно Фриц, раскланиваясь на обе стороны шляпой, – и верьте, что конюший баронессы, который, во-первых, никогда еще не лгал, особенно перед столь почтенными господами...

– Во-вторых, начнет теперь, – сказала сидевшая в карете.

– Слушай же, Кете! – вскричал сердито пастор, и та, к которой он обращался с этим восклицанием, смиренно опустила длинные черные ресницы на прекрасные черные глаза, полные огня и остроумия.

– Только без пунктиков, Фриц, без пунктиков, которыми ты любишь зарубать свою речь, – примолвил офицер.

– Прошу извинения, господин цейгмейстер! (Фриц снял униженно шляпу и, по знаку своего повелителя, опять надел ее.) – Привычка пуще неволи; топи ее в море слов, а все где-нибудь вынырнет. Вот, например, господин Ле... Лио... ох! эту фамилию забываю вечно.

– Фамилию мимо!

– Он был в старые годы закройщик, ныне лифляндский дворянин с прибавкою фон.

– Лифляндский дворянин? – прервал с горькой усмешкой старик, сидевший в карете и терявший вовсе терпение. – Неправда! Лейонскрон из числа тех восьми графов, двадцати четырех баронов и четырехсот двадцати восьми дворян шведских, которых угодно было королеве Христине – не тем бы ее помянуть! – вытащить из грязи. Надо называть каждую вещь своим именем; всякому свое, Фриц!

– Сушая справедливость, господин пастор! Вот этот Лейонскрон был в чести, как вы изволите знать...

– Чтоб его...

– А все-таки имел привычку шевелить пальцами, как будто кроил ножницами, хотя бы на меня, грешного, кафтан. Так-то несет еще и от меня точностью фискального судьи, потому что, как вы изволите знать...

– Знаю, знаю!.. чтоб тебе... Минерва привязала замок на рот! – пробормотал с сердцем пастор и, готовый вынести только последнюю осаду своего терпения, углубился в карету.

– Я прожил у одного фискала несколько лет, а он имел привычку говорить сначала своим просителям, искавшим пропуска запутанному дельцу: во-первых, милостивый государь! Проситель смекал, приносил первое, тогда во-вторых не задерживалось в судейском горлышке, и дело пропускалось гладко и скоро, как лодка по наполненному шлюзу. Он так же строго взыскивал с меня, если я излагал ему дело о покупке овса, сена и прочего для лошадей не ясно, не по пунктам, как теперь...

– Что еще, проклятый болтун?

– Наш амтман Шнурбаух взыскивает с меня, когда не прибавляю словечка фон, обращаясь к нему; а перед баронессою, поверите ли, господин цейгмейстер, стоит, как натянутая струнка!

– Ха, ха, ха! спесь рыцарей меча и низость бременских купцов, все вместе!.. Вот эти *patres patriae, defensores justitiae*! [так величали себя прежде лифляндские дворяне; Карл XI им это запретил. «Отцы отечества, защитники справедливости!» – лат.] – вскричал, коварно смеясь, путник, ехавший верхом.

– Низость бременских купцов? низость... Гм! – сердито проворчал пастор сквозь зубы. – Это говорит швед! в Лифляндии! ищет еще руки лифляндки!.. Прекрасно! бесподобно!

Девушка, видя, что между спутниками ее скоро загорится война не на шутку, поспешила еще вовремя тушить ее. Она обратилась к Фрицу с убедительной просьбой начать обещанную повесть. Догадливый кучер, сообразив время и длину пути, который им оставался до таинственной долины, спешил исполнить эту просьбу.

– В приходе Ренко-Мойс, – начал так Фриц свой рассказ, – неподалеку от развалин замка, жила когда-то богатая Тедвен, знаете, та самая, которая сделала дочери на славу такое платье, что черт принужден был смеяться. В этом замке жила и наши святые рыцари, и злодеи русские, и монахи, и едва ли, наконец, не одна нечистая сила, – да простит мне господь! – вы хорошо знаете Ренко-Мойс, фрейлейн?

– Ринген [в Лифляндии места имеют иногда по три и четыре названия: немецкое, латышское, чухонское и русское], хочешь ты сказать? Как не знать мне? я только что не родилась в приходе рингенском.

– Припомните, за болотцем, в виду замка, пригорок. Вот на этом пригорке, в затишье от ветров, за щитком березовой рощи, стояла лет сто тому назад худенькая избушка, одним углом избоченясь, другим припав к земле. Силачу стоило только ее пошевелить, так она бы и развалилась. В этой избушке поселился, неизвестно откуда пришедший, мастеровой человек, именно сапожник, еще не старый, один-одинехонек. Душонка у него была дурная, потому, во-первых, что он нищему не подал в жизнь свою даже куска черствого хлеба; во-вторых, что он не любил детей, а это худая примета! Никто в домишке его не слыхивал ни песни, ни голоса женщины, ни говора хоть забеглого мальчишки; никто не выпил с ним рюмки вина. Только и слышны были заказ сапогов, или торг, или расчеты, да тук-тук молотком, и опять все тот же тук-тук, как стук гробового червяка. Руки же у него были золотые – а может быть, помогал ему окаянный, – шивал он на славу сапоги без разреза и без тачки из цельной кожи. Ныне, благодаря нашим пасторам, такие мастера вывелись. Заказывали ему сапоги скупые бароны, чтоб были без сносу; епископы и архиidiaконы, чтоб были без шума; рыцари, чтобы отражали копьё татарское. Можете судить, когда такие особы заказывают что-либо, то и платят хорошо. Тогда еще не слышно было о ведьме-редукции, которая в недавнем еще времени ходила по

мызам, и бароны жили попеваючи и попиваючи. Оттого наш ремесленник должен был зашибать хорошую деньгу; но божился и клялся, что гол, как облупленная липка, что он не женится за неимением чем содержать жену, что его обкрадывают, что у него в долгах много пропадает. И будто бы потому он ел черствый хлеб с мякиной пополам, жердочками подпирали валившуюся хижину свою, все кричал, все жаловался на свою бедность и беспрестанно завидовал богатым. Особенно, когда старики перебирали того или другого, разбогатевших от кладов, он насупливал брови, как сыч, лицо его подергивало туда и сюда, дрожь его пронимала, и наш сапожник невидимо утек из круга рассказчиков в свою пустую избушку. Собирались смелые проказники подметить, что у него делается по ночам, собирались, да, видно, не выполнили. Храбро только языком шли на рать! В одно время он вовсе покинул работу, скрылся – и целый месяц не слышно было стука его молотка. Приходившие с заказами со страхом отступали от пустой избушки, в которой только двери, по блажи ветра, стонали на петлях. Он пришел домой для того только, чтобы через несколько дней умереть; но лежа на смертной постелешке, – знать, ему от хорошего житья уже тошно приходило! – послал за пастором рингенским и, стуча зуб об зуб, объявил ему то, что я буду вам теперь рассказывать.

«Вы знаете или слышали, святой отец, – так говорил сапожник духовнику своему, – какая жадность к богатству одолевала меня с молодых лет, но не знаете, с каким усердием отыскивал я сокровища в горах, и, открыться уже должен, приступая к Страшному суду, отыскивал их в местах, где покоятся усопшие. Я потревожил кости трех витязей русских, схороненных в болоте близ Оденпе; сделал то же с римским рыцарем [И доныне показывают на этом болоте три камня, под которыми лежит прах русских витязей. Гуммельсгофские крестьяне водили меня на место, где будто бы похоронен какой-то римский рыцарь], который столько лет спит на высотах гуммельсгофских под баюканье лесов; всего на все разрыл я собственными руками в полночные часы одиннадцать могил; одиннадцать покойников воззвал я от сна вечного». – Тут у самого умирающего волосы встали дыбом; холодный пот выступил по нем; он закашлялся: ге! ге! ге! – так, что пастор хотел прочесть отходную; но сапожник, вздохнув немного, продолжал: «В долине за Менценом, окруженной со всех сторон лесом, – видело только небо! – была мне одна удача». – Здесь опять духовник не мог расслышать, что прошептал ему, скрежеща зубами, кающийся. Оправившись, он опять начал говорить: «Прихожу с кладом домой, в осеннюю месячную ночь. Домишка мой едва лепился на жердочках; дверью меня ударило; филин встретил меня ужасным свистом, как будто бичом полоснуло меня по сердцу; собака с развалин замка отвечала ему воем. Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, зажигаю фонарь и спешу полюбоваться сокровищем своим: почти все золото, чистое, как луч солнечный! Только... были... пятна!.. Принимаюсь считать деньги... Вдруг одиннадцать голов заохотали, двенадцатый вздохнул тихо; но этот вздох, отец святой, был для меня ужаснее всех. От страха... ру... полотно выпало у меня из рук, и деньги рассыпались». – Не забудьте, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, что это – боже меня сохрани! – не я говорю, а умирающий сапожник.

– Помним, помним! – отвечали слушатели Фрица.

Кучер помахал себе в лицо шляпой, как опахалом, потом надел ее, хлопнул искусно бичом так, что, казалось, разрезал лес пополам, и продолжал свой рассказ.

– «Было к полуночи, – говорил задыхающимся голосом сапожник духовнику, – явились ко мне, одна за другой, одиннадцать девушек в белых платьях с венками на головах. Они принялись собирать деньги с полу и в несколько минут опять наполнили... полотно; только требовали за труды, чтобы я поплясал с ними на мягкой траве, при свете месяца. Я должен был выполнить их волю и плясал с ними до петухов, пока не выбился из сил. Каждую ночь будем посещать тебя, сказали они мне, пока не выдашь нам двенадцатой подружки; без нее нельзя нам веселиться в прекрасной долине за Менценом на мягкой траве, при свете месяца. Вот уже одиннадцать дней, как они не дают мне любоваться кладом моим, рассыпают его, опять

собирают, мучат меня своими плясками и грозят мне тем же, пока я жив, если не выдам им двенадцатой, а кого, – не знаю. На рассвете нынешнего дня отнес я без счету горшок с золотом в развалины замка и там заклал его в стене восточной башни, от среднего круглого окна четвертый камень вниз. Ты видишь, отец духовный, в каком я теперь состоянии. Верно, меня, двенадцатого, девы требовали к себе в долину. Ради отца небесного, похороните меня там. Чувствую, что смерть близка... но, умирая, хочу, по крайней мере, облегчить себе переход в вечность... искупив хоть часть грехов моих... добрым делом». – Заметьте, он не смел сказать – богоугодным делом. – «Отказываю половину своего сокровища бедным, а другую рингенской церкви, чтобы она...» С этим словом сапожник испустил дух так скоро, что усердный пастор не успел прочесть отходной. Немедленно созвано было множество окружных прихожан, дворян и простолюдинов и объявлено им завешание покойного. Сначала приступили к открытию сокровища в восточной башне рингенского замка. Место, где оно хранилось, было так твердо, что едва сдалось на усилия нескольких дюжих парней, вооруженных добрыми ломами. Показался горшок, вынули его: в нем лежало что-то, завернутое в каком-то полотне, раскрыли – и что ж нашли? – Человеческий череп, обернутый саваном!.. Посоветовались между собой и положили: череп в саване похоронить по христианскому долгу, на высоте против долины, в которую одиннадцать дев требовали к себе двенадцатую, и поставить на могиле деревянный крест; тело же сапожника, ради отца небесного, которого он поминал при кончине, не бросать на съедение вороньям и волкам в поле, а зарыть просто, как еретика, в темном ущелье леса, неподалеку от долины. Так и сделано было. То, что я вам рассказал, слово в слово, записано тогда в рингенскую церковную книгу, сам священник тут же руку приложил.

– Что правда, то правда! – сказал пастор. – Подобное происшествие действительно записано в старинной метрической книге рингенского прихода. Мой собрат, – продолжал он усмехаясь, – управлявший тамошней паствой, лет близ ста тому назад, много чудесностей поместил в этой книге; между прочими и сказание Фрица в ней отыскать можно. Но я не знал, что долина, к которой подвигаемся, имеет с ней такие близкие сношения.

– Это не все еще, господин пастор! В долине творятся такие дела... и днем рассказывать их, так ужас берет. Надо вам прежде объяснить, что исстари, то есть с того времени, как похоронили череп с саваном на высоте и зарыли сапожника в глухом ущелье, ходило предание, что двенадцать дев – замечьте, уже двенадцать – в белых платьях, с венками на головах, каждую полночь собираются в долине, пляшут несколько времени хороводом на мягкой траве, при свете месяца, и потом в разные стороны убегают. Когда девы разыграются, из ущелья показывается высокое привидение, смотрит на них, не двигаясь с места, вздыхает так, что противный берег начал оседать; а как скоро кончится пляска их, уходит опять в свое ущелье. Назад тому несколько лет завелся в здешней стороне обычай привозить на высоту утопленников и удушенных. Но поверите ли, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, лишь только положат одного из этих несчастных близ креста, в ту же ночь он пропадает! Видали, что длинное, как шест, привидение из ущелья выползает, идет прямо на высоту, поднимает мертвое тело на плечи и уносит его в свое домовище. Без того, сказывают, девы не пляшут в долине при свете месяца, на мягкой траве. Дороги к ущелью не проложено, а видны только огромные ступни, нечеловеческие, – я покажу их, вам, как проедем мимо них.

– А бывал ли кто в страшном ущелье днем? – спросила девушка.

– Никто из живущих не смеет взглянуть в него, – отвечал кучер, – а зашел туда невзначай (сколько лет тому назад, не упомяну) прохожий егерь, нетутошный, из дальних мест. Видно, он не слышал об этих ужасах.

– Что ж он там видел?

– Долину, темную, как глубокий осенний вечер, серые камни, обрызганные кровью и обставленные вокруг косматого привидения, которое осветило его большими нечеловеческими глазами и встретило визгом, стоном и скрежетом. В ушах у егеря затрещало, глаза его

помутились, рубашка на нем запрыгала, и он едва-едва не положил тут душонки своей. Только молитве да ногам обязан он своим спасением. С того времени всякий другу и недругу заказывает хоть полуглазом заглядывать в ущелье.

– Но тебе, Фриц, – спросил пастор, – случилось ли проезжать здесь в полночь и видеть привидение?

– Была на меня эта напасть прошлого года, когда ехал я за фрейлейн, – только я об этом ей не рассказывал. Вот видите, господин пастор, до поездки этой я и сам посмеивался над ужасами долины, как охотник не боится медведя, пока не побывает в его лапах. Думал все, что тут какие-нибудь вздоры или шашни кроются. Была ночь месячная. Зная, что до Мариенбурга придется работка рыжакам, плетуся потихоньку и, подремливая, киваю головою, будто носом рыбу ужу. Вдруг, только что спустился с косогора в долину, рыжаки захрапели, наострили уши, съезжились и стали в пень; я – ну, ну! не тут-то было. Лошади мои дрожали, как будто домовый их объезжал, и ни с места. Смотрю вперед, и сам обомлел: вижу привидение, не ниже кареты, плетется через долину с мертвецом на спине. Я уставил глаза в лошадей и, куда уж он девался, ничего не видал. Лошадки фыркнули и мчали меня с четверть мили.

– А дев видал ли ты?

– Грех солгать, дев-то я ни разу не видел. Как прикажете, господа, останавливаться ли в Долине мертвецов?

– Что скажет наша Кете? – улыбаясь, спросил пастор свою соседку.

– Если за мной дело стало, – отвечала девушка, – так я просила бы вас сделать мне удовольствие остановиться в долине, страшной только ночью, а днем... это рай!.. вы увидите сами, папахен.

– Будь по-твоему, дружок! Слышишь ли, Фриц?

– Мое дело слушаться, – сказал, качая головой, кучер, – хоть бы приказали мне прикорнуть на лапках у самого сатаны; лишь бы моим рыжакам было где вздохнуть!

Глава третья

Крупный разговор

Поспорят, да сочтутся;
Итог все старый подведут!
Да мы свой счет найдем ли тут?
«Запрос нерешенный»

– Постараемся, – сказал офицер с видом таинственности, – свести на обратном пути знакомство с здешними духами.

Пастор, забывавший так же скоро оскорбление, как и приходил в гнев, видя, что конный товарищ искал завязать разговор, посмотрел на него с дружеской улыбкой и присовокупил:

– Духи еще беда невеликая! от них можно оборониться и молитвою.

– Ваша правда, господин пастор! – сказал офицер. – Ваша правда! А вот беда, как нагрянут сюда в ужасной плоти и образе русские варвары, которые бродят по соседству.

– По соседству? это в самом деле ужасно! – лукаво произнесла та, к которой относилась речь.

– Еще хорошо бы, – продолжал конный спутник, – если б пожаловали сюда так называемые регулярные войска русские; а как, доннерветтер, сделают нам эту честь татары да калмыки! Вы, сестрица, конечно, не видывали еще этих зверьков? О! их можно показывать в железной клетке за деньги. Представьте себе движущийся чурбан, отесанный ровно в ширину, как в вышину, нечто похожее на человека, с лицом плоским, точно сплюснутым доской, с двумя щелочками вместо глаз, с маленьким ртом, который доходит до ушей, в высокой шапке даже среди собачьих жаров; прибавьте еще, что этот купидончик со всеми принадлежностями своими: колчаном, луком, стрелами, несется на лошадке, едва приметной от земли, захватывая на лету волшебным узлом все, что ему навстречу попадает, – гусей, баранов, женщин, детей...

– И шведских офицеров – не правда ли? – примолвила сидевшая в карете.

– До сих пор был неудачен лов последних: не знаю, что будет вперед! Впрочем, не в первый раз получать мне щелчки из рук моей любезной сестрицы в разговоре о войске русском, которое имеет честь быть под особенным ее покровительством. Подвергая себя новым ударам, dokonчу то, что я хотел сказать о калмыках. Раз привели ко мне на батарею подобного уroda на лошади.

– Не страшного ли Мурзенку, которого имя с ужасом твердит вся Лифляндия? – спросил пастор.

– Нет! этот разбойничий атаман, которым напуганы здешние женщины и дети, покуда гуляет еще по белу свету. Мой пленник был не такой чиновный. Как бы вы думали, сестрица, что у него было под седлом? Конское мясо, скажете вы? – Нет! Вспомнить только об этом, так волосы становятся дыбом. – Младенец нескольких месяцев, белый, нежный, как из воску вылитый!

– Ужасно, если это не выдумка! – сказала девушка.

– Не намерен убеждать вас верить мне: а хотел я договорить, что этим уродом шведский артиллерист велел зарядить шведскую пушку и отослать его в русский лагерь.

– Мне совестно спросить офицера великой армии шведской, при каком месте происходил этот подвиг; скажу вам, в свою очередь, что одна жестокость стоит другой. Однако ж, если бы в самом деле вздумалось этим господам татарам пробраться на дорогу нашу?

Пастор, видевший или думавший видеть, что неустрашимость его спутницы начинала несколько остывать, спешил на помощь ей против нападений офицера.

– Разве, – сказал он, – мы не имеем благородного и сильного защитника в нашем друге? От грозных орудий, которыми он запасся и умеет владеть, как ловкая швея иглою, целый десяток бедуинов рассеется.

– А если их будет сотня? Вульф один; мы с вами, папахен, не сладим и с одним уродом, какого описал нам услужливый братец. Фриц же скорее ускачет со своим Арлекином и Зефиркою, чем за нас вступится. Что ж будет тогда с нами?

Кучер покачал головой и погрозил у своего уха пальцем, как бы упрекая за несправедливые выговоры. Капитан, желая повеселиться насчет храбрости сидевшей в карете, продолжал грубые шутки свои:

– Бедному, ничтожному шведу карачун дадут, господина пастора изжарят на вертеле, а вас, бесстрашная фрейлейн Рабе, увезут в плен, в дикую Московию, может быть, к падишаху их в...

– Нет, меня не разлучат с моим вторым отцом! – возразила девушка, прижимая к себе иссохшую руку старика.

– Фуй, фуй, Вульф! – вскричал пастор, у которого лицо вспыхнуло от необдуманных слов цейгмейстера. – Вы и в шутках показываете вещи в черном виде. Нынешний день вы, позвольте вам сказать, особенно доказали, что в ваших речах нет ни Грации, ни Минервы. Еще прибавлю, сударь, – и татары имеют начальников русских; а разве русские не христиане? разве они не озарены светом Евангелия так же, как и мы, лифляндцы и шведы? И они уважают не только своих попов, но и немецких пасторов: я слыхал многие тому примеры. Тем более имею право ожидать их снисхождения, что могу изъясняться с ними без помощи переводчика... вы знаете, что я употребил несколько часов моей жизни на изучение языка русского.

– К сожалению, знаю! – прервал офицер. – Потраченный порох!

– Нет, сударь! – продолжал пастор, все более и более горячась. – Надеюсь, что мои оружия получше защитят меня, нежели вас ваши мариенбургские заржавленные пушчонки. За меня Ювенал, Четыре монархии, Пуффендорф с своим вступлением во Всемирную Историю, Планисферия, весь Политический Театр; все, все уже они стоят у меня на страже; все заговорят за меня по-русски и умилоостивят победителей! Вижу коварную улыбку вашу: «Все пустячки! об них и слухом не слыхать в Московии!» – говорите вы. Нет, сударь, – об них известен учнейший человек в России, библиотекарь патриарха, которому я уже послал переведенные мною на его родной язык «*Orbem pictum*» и «*Vestibulum*» и с которым мы условились составить славяно-греко-латинский лексикон.

– Прекрасно! вы в военное время и переписочку ведете с неприятелями своего государя, врагами нового отечества вашего!

– Народы враждуют, брань кипит – просвещение делает свое, прокрадывается хитростью, где не пускают его силою. Мечи накрест, – музы через них умеют подавать друг другу руки! Изгнанные из одного места, они поселяются в соседстве назло и к несчастью гонителей. Браннолюбивый Карл напугал их в Швеции и Лифляндии: они отправляются вереницей к Петру, умеющему приласкать их. Швеция становится близорукою, бледнеет, слабнет; Россия, просвещаясь, богатеет, мужается. Горькая истина, господин цейгмейстер, но все-таки истина!

– Школьное умствование, вылупившееся из засиженного яйца какой-нибудь ученой вороны! Налетит шведский лев, и в могучей лапе замрет ее вещательное карканье! От библиотекаря московского патриарха ступени ведут выше и выше; смею ли спросить: не удостоится ли и царь получить от вас какую-нибудь цидулку?

– А что вам до этого, львам и орлам севера?.. Да, господин из свиты львиной, мариенбургская ученая ворона надеется скоро и очень скоро посвятить Великому Петру переводы Юлия Цесаря, Квинта Курция, "Institutio rei militaris", "Ars navigandi" и Эзоповы притчи. Он любит древних героев, потому что их в себе воскрешает. Не одни шведы будут учителями его в науке войны и мореплавания, может быть, и нашим книжечкам, и нам скажет он некогда спа-

сибо! Эзоп – о! он, говорят, знает его наизусть! словами фригийского мудреца умеет обличать самонадеянность, невежество, бестолковое удайство, грубость, неуважение к старшим.

Здесь пастор отдохнул немного, потом, обратившись к своей спутнице, не смевшей сказать ни слова в защиту того или другого, ибо, по-видимому, уже между ними не было слова на мир, снова продолжал:

– Назло господину цейгмейстеру, чтобы он вперед не пугал тебя, Кете, и не говорил двусмысленностей, предсказываю, что в случае похищения нас ни жарить, ни печь не станут, меня – в уважение моего сана, моих трудов, тебя – в уважение твоего хорошего личика, которое и на Руси проглянуло бы, как солнышко. Напротив, нас повезли бы в Москву, там ученые люди нужны. Царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором; стал бы проповедовать слово божие, как здесь делаю; основал бы академию, *scholam illustrem*; [знаменитую школу – лат.] а ты, моя милая Кетхен, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина... Ой, ой! Фриц, по каким кочкам ты нас везешь!

– Настоящая Московия, – пробормотал сердито офицер, – песок, лес, кочки, буераки!

– А вот мы сейчас и в пригожей долине, в которой угодно было вам остановиться, – сказал кучер. – Слышите? слышите?

– Что такое еще там? – спросил пастор, которого гнев уже растрясся по ухабам.

– Я слышу, несет из долины запахом цветов, точно от букета, что у фрейлейн на шляпке. Авось либо духи не едят травы, и моим рыжакам будет что покушать. Вот она, Долина мер... (Фриц, озираясь кругом, не договорил речи своей.)

В самом деле, начинал редеть лес, показались излучины Вайдау, зеленые лужи, холмы, рощи и, наконец, уединенная, живописная долина. Речка пересекала дорогу поперек, бежа с левой стороны на правую; тут, удержанная горой, потянулась прямо, потом обогнулась влево дугой и, наконец, понесла далее свои ропщущие по камням воды, в извилинах своих все повинаясь своенравному направлению обступивших ее холмов. Дружно обсаженная деревьями, она за ними притаилась и казалась издали выходящей по лугу тенистой дорожкой; только журчание изменяло ей. По правую сторону возвышалась гора, которой нетронутой временем отлогость покрывал с подошвы до гребня сосновый лес, немного протянувшийся по нем мрачною оградою и вдруг вразрез остановившийся; далее самая вершина горы была на довольно большое пространство обнажена, а желто-глинистый бок ее, до самого низу, обсеялся в виде прямого, как стена, утеса. На этой-то вершине стоял необыкновенной величины деревянный крест, почерневший от времени и непогод; он господствовал над всею долиной, а из нее, казалось, захватил полнеба. Далее по косогору начиналась роща; из чащи ее выпадала дорожка. Левую сторону долины обсеяли несколько зеленых холмов, иные вполонину обнаженные, другие осененные красивыми рощами, примыкавшими к густому лесу, из которого чернелось ущелье привидения.

Переехав мостик, карета повернула с дороги налево и стала там, где подножие холма и речка сходились углом. Сидевшая в карете выскочила из нее на мураву, не дожидаясь чужой помощи.

– Какие прекрасные места! – воскликнула она. – Если такова Московия, то...

Она хотела что-то сказать, не договорила и продолжала, смутившись:

– Тенистая роща ждет нас на этом холме; в ней, будто нарочно для нас, разостланы цветистые ковры.

– Есть из чего набрать венок для будущего победителя шведа Вульфа! – присовокупил офицер, сошедши с лошади и привязав ее к карете.

– Какие вы недобрые, Вульф! Этого я не помышляла даже в шутку. Могу ли не желать, во всяком случае, успеха тому, кто был другом моему отцу, кого любит так много мой благодетель, мой второй отец? Разве вы не принадлежите к нашему маленькому семейству?

– Полно, полно, дети! – сказал ласковым голосом пастор, которому Фриц помогал вылезть из экипажа. – Шутка пусть останется шуткой. Скорей мировую! аминь!

Прекрасная девушка протянула Вульффу руку; он спешил ее поцеловать.

– Вот так-то! – вскричал старик, всплеснув руками в знак одобрения. – Это лучше, чем смотреть друг на друга сентябрем. А знаете ли, друзья мои, все настоящие беды наши, не выключая и вашей размолвки, происходят оттого, что адрес, поданный лифляндцами блаженныя памяти королю, был худо сочинен.

– Адрес? – спросила в один голос примиренная чета с видом изумления.

– Да, точно! я вам это сейчас объясню. Если бы он написан был как должно, то есть, как я думал написать его, король принял бы его милостиво. Вспомните, что его величество, не разобрав еще хорошенько адреса, поданного депутацией, потрепал Паткуля по плечу и сказал ему: «Вы говорите в пользу своего отечества, как истинный патриот; тем больше я вас уважаю».

– И через несколько дней прозорливый государь велел палачу поласкать шею у почтенного лифляндца! – возразил с усмешкой офицер.

– Не нам – богу судить деяния царей! Новому отечеству моему от этого не было легче. Но дело не в том. Возьмите в соображение, что блаженныя памяти король, наш милостивейший господин, приказал сделать эту экзекуцию через несколько времени, то есть тогда, когда успели его величеству протолковать несообразности адреса, чего не мог он при слушании его понять. Итак, вы видите, что все зло произошло, опять скажу, от неловкого сочинения адреса. В противном случае Паткулю не погрозили бы плахою, он не бежал бы из Стокгольма от мысли, что палач будет играть головою его, как мячиком, – головою, которой, надобно признаться, подобную не нахожу более в Лифляндии. И его ж, стыжусь выговорить, наш брат духовник, Нордбек, упрекает, почему он ушел от приговора закона! Но дело не в том. Тогда бы, то есть, если бы адрес написан был, как я полагал его написать, Паткуль не находился бы в русском войске, не служил бы Шереметгофу – выговариваю имя этого полководца на немецкий лад. По-русски надобно сказать Шереметев; но дело не в том. Паткуль не служил бы ему живою лифляндскою ландкартой, не шевелил бы страстей в своем отечестве, война кончилась бы скорее, мы не боялись бы теперь соседства русских, вы не ссорились бы в разговоре о них... И бог знает, от каких бед избавил бы нас адрес, дельно составленный, обдуманый не горячими умами, но холодным стариковским рассудком. Если бы адрес...

Конца бы не было сильному, всесокрушающему потоку, льющемуся из уст нашего оратора, для которого слово «адрес» было то же, что поднятие затвора у спуска воды на мельнице, – если бы не поспешил Фриц заткнуть прорыв этот докладом, что поставит карету и лошадей в уголку долины, в тени. Между тем пастор, воспитанница его и Вульф вошли в рошу; усердный конюший понес за ними несколько подушек. Чем далее углублялись они в нее, тем более жар терял силы. Ветерок вился мотыльком между деревьями и обвевал наших путешественников негою прохлады. Сплетшиеся ветви душистой липы, всегда шепчущей осины и клена широколиственного манили их под себя к отдыху; однообразное жужжание пчел склоняло к дремоте. Пастор, утомленный путешествием, охотно предался зову природы: он прилег в беседке, которую нежная заботливость его спутницы устроила со всеми возможными удобствами для него. Старец, забыв мертвецов, адрес, переводы и все великие намерения свои, вскоре заснул крепким сном душевного спокойствия. Прекрасная путешественница села не в дальнем расстоянии от него под наметом цветущей липы и занялась чтением «Светлейшей Аргениды», одного из превосходнейших романов настоящего и прошедшего времен (по крайней мере, так сказано было в заглавии книги), сочиненного знаменитым Барклаем. Подальше цейгмейстер задремал, прислонясь ко пню, обвитому пышным мохом и ползуном. Он имел осторожность взять с собою карабин, который поставил в приятельском отдалении. Фриц... но мы расскажем, что с ним случилось, чрез главу.

Глава четвертая

Кто они такие?

Уж разумеется, что это мы узнаем!

Хмельницкий

Отдых наших путешественников представляет нам удобный случай короче ознакомить с ними читателя нашего. Начнем со старшего лица.

Эрнст Глик был пастором в лифляндском городке Мариенбурге, лежавшем близ границ псковских. Лифляндия не была его отечеством: он родился в Веттине, что в герцогстве Магдебургском, где отец его, Христиан, также священствовал. Дед его Иоган был некогда типографщиком в Лейпциге. От первого получил он в наследство любовь к добру, от второго – любовь к просвещению; и с таким достоянием почитал себя богатым. Занесенный разными обстоятельствами, о которых умалчиваем по незанимательности их, сначала в Ригу, потом в настоящее местопребывание свое, он везде, где только жил, приносил с собою известность почтенного имени и оставлял память о своих добрых делах. По летам и сану его, а более по уважению и любви к нему обывателей мариенбургских можно было назвать его патриархом этого городка. Но как доброе сердце его, найдя тесным этот круг деятельности, умело расширить его за несколько десятков миль от Мариенбурга, так и любовь и уважение успели найти Глика из отдаленных мест Лифляндии.

Добро делать считал он такою же потребностью, как пить и есть. Он был небогат; но догадливая любовь к нему прихожан и окружного дворянства, вознаграждая недостатки его, доставляла ему постоянные способы исполнять эту потребность. За стыд не считал он получать дары, потому что их же раздавал неимущим: в этом случае почитал он себя только посредником между благотворением и несчастьем. Не делал он такого скрытого добра, которое преданные люди обыкновенно, в подобных случаях, разглашают человекам двадцати; не любил он также и открытой дележки. Зато с какою пламенною готовностью спешил он к беспомощному больному с лекарем, лекарством, пособиями всякого рода и даже хожалою (горничною, старою девкой Грете, часто заменявшею его в таких человеколюбивых подвигах), с каким усердием поддерживал он существование бесприютной вдовы, отдавал бедных сирот в учение разным ремеслам, оказывал великодушные пособия подсудимым!

– Законы должны делать свое, – говаривал он, – а я, как человек, свое.

Однако ж острый взгляд его умел почти всегда отличать в числе истинно бедных и несчастных, составляющих везде многочисленное семейство, тех самозванцев-несчастливцев, бродяг, туенядцев, просящих милостыню по привычке, когда могли бы работой рук своих доставать себе пропитание. Опекун злополучия, великодушный, но не безрассудный, он отказывал последним в вещественном пособии, но преследовал их духовными благодеяниями, мерами, более действительными к исправлению порока; он успел даже многих из них отучить от бродяжничества. Этот добродетельный человек основал в городе рабочий дом, богадельню и училище, помня, как он говорил, что пороки не иначе можно изгнать из общества, как удовлетворением трех главнейших потребностей человека: укреплением тела, очищением сердца и просвещением разума. Успехи его благотворительных средств были доведены до того, что дали бургомистру возможность в одно воскресенье прибить у всех въездов в Мариенбург доски с надписью: Здесь не позволено просить милостыню. В этот достопамятный день гражданами поставлены были в кирке великолепные, по тогдашнему времени, органы. Вечером же окна пасторского дома внезапно осветились необыкновенным светом. Он выставил свою лысую голову из окна и был изумлен необыкновенным зрелищем: по озеру летело с разных сторон множество двойственных огней, которые соединились у берега против дома, произвели в воз-

духе блестящее зарево и зажгли воды. Раздались, при звуке мечей, громкие «виваты», и пропет был охриплым голосом почетнейших жителей кант, сочиненный в честь виновника общего их благополучия, в котором сравнивали его с Ликургом, Солоном многими другими законодателями. Торжество это извлекло у доброго старца слезы и радостью взволновало его кровь до того, что он не мог заснуть прежде рассвета. Известно нам также по преданию, что сочинитель канта, городской школьный мастер Дихтерлихт, был несколько дней в лихорадке от одной мысли перейти в потомство с новорожденным своим творением.

Слово Глика к пастве было слово отца к детям: он поучал, увещевал, не пугая. Правда, платил он изредка дань веку своему, щеголяя в проповедях схоластическою ученостью, которою голова его была изобильно снабжена, тревожа с высоты кафедры робкие умы слушателей варварскими терминами из физики и математики и возбуждая от сна вечного не только героев Греции и Рима, но даже Граций и Минерву, с которыми он редко где-нибудь расставался. К чести его надобно оговорить, что он в конце своих речей, со скромностью христианина, почти всегда извинялся перед слушателями, что отвлек их внимание от даров небесных к дарам человеческим. Но лучшее, незабвенное благодеяние, которое он сделал не только своим прихожанам, но и всему лифляндскому краю, был перевод на латышский язык Библии: с его времени закон божий стал известен поселянам на природном их языке и понятен их разуму и сердцу.

Ученость его вошла в пословицу. Он знал хорошо языки греческий, латинский и, что удивительнее всего в тогдашнее время, русский, на который он перевел множество латинских сочинений. Им хотел он сделаться известным преобразователю русского царства и занять в его истории почетное место. Чтобы достигнуть своей цели и между тем согласить чувства верноподданного шведского короля с нетерпеливою любовью к знаменитости, он ожидал мира, как жиды мессии. Страстный поклонник всего великого, являлось ли оно в лютеранине или иноверце, в соотечественнике или чужестранце, он питал уже с давнего времени пламенную любовь юноши к славе царя Алексеевича (так звали его запросто немцы) и успел напитать этим огнем воображение своих домашних. Еще в 1697 году («25-го марта» – это число было у него записано красными чернилами и огромными буквами в календаре), смешавшись в толпе лифляндских дворян, прибывших встретить русского монарха на границе своей в Нейгаузене, он видел там лично этого великого мужа, ехавшего собирать с Европы дань просвещения, чтобы обогатить ею свое государство. Там еще успел он угадать его сердцем, которое часто вернее исследований ума осязает истину, и с того времени, с целью далекою, посвятил лучшие досуги свои изучению языка русского. Мы видели по прочитанной им самим номенклатуре книг, им переведенных на этот язык, что труды его были велики; узнаем впоследствии, были ли они бесполезны.

Всякая фигура имеет свой свет и свою тень; идея человека соединяется всегда с идеей слабостей его: это сказано и пересказано уже до меня. Хорошо еще, когда свет преобладает над мраком; мы уже до того дошли, что стали говорить: хорошо б, если бы на людях, с которыми мы имеем дело, проглянуло где-нибудь белое пятнышко; а то бывают ныне и такие черненькие, как уголь, который горит и светит для того только, чтобы сожигать! Этим рассуждением приговариваюсь к тому, чтобы выиграть сколько можно более снисхождения к слабой стороне нашего Глика. Пылкость ума его, страсть к планам, нововведениям и усовершенствованиям нередко простирались на мелочи, нередко проявлялись в смешных, странных способах. В наш век назвали бы его прожектером. Но мы видели, что эта самая страсть произвела множество полезных, истинно благодетельных дел и потому не только была в нем извинительна – она заслужила даже благодарность сограждан и память потомства. Не средства, а цель достойна строгой проверки. И потому охотно отпускаем ему на суде нашем эту слабость. Но что было в нем порок истинный, так это своенравие. Когда он садился на конька своего, неугомонного, заносчивого, то никто не в состоянии был его удержать, хотя бы он скакал через рвы и плетни. Получив ли от природы направление к этому пороку, утвержденный ли в нем чувством соб-

ственных достоинств, дававших ему первенство в семействе, в училище и в обществе, избалованный ли всегдашним, безусловным согласием невежд и ученых, он забывал иногда смирение евангельское, неприметно поклоняясь своему кумиру. Если он что-либо задумал, расположил и утвердил в голове своей, то начертания свои почитал лучшими, какие только можно составить, по ним действовал и заставлял действовать людей, с ним тесно связанных и от него зависевших. Ничто не могло заставить его переменить свое намерение, даже и тогда, когда обстоятельства заранее открывали ему заблуждения и ошибки его.

– Конец венчает дело, – говаривал он иногда, желая оправдать неуспехи своих предположений и расчетов, и, приближаясь к цели, нередко узнавал прискорбным опытом, что основание их было непрочное и ложно. К счастью имевших с ним дело и не слепо выполнявших его начертания, мщение никогда не входило в сердце его.

– Близорукие! ослепленные! невежды! – говаривал он об них в пылу гнева. – Умываю себе руки в несчастиях, которые могут с ними случиться.

Если же противились ярму его своенравия люди сильные, к видам которых привил он свои услуги, то соглашался скорее потерять свои пользы и разрушить давнишние связи, чем расстаться с начертаниями своими.

Глик давно лишился жены и детей. Взамен их провидение послало ему такое существо, которое, пополнив все его утраты, подарило его лучшими утешениями в жизни. Это была воспитанница его, Катерина Рабе. Отец ее, служивший квартирмейстером в шведском Эльфсбургском полку, умер вскоре после ее рождения (в 1684 году). Мать ее была благородная лифляндка, по имени первого мужа, секретаря какого-то лифляндского суда, Мориц. Лишившись второго мужа, она из Гермунареда, что в Вестготландии, приехала по делам своим на родину с малолетнею дочерью своею (нашей героинею) в рингенское поместье господ Розен, где и скончалась в непродолжительном времени. Малютка осталась после нее круглою сиротой, не только без покровительства, но и без всякого призрения. Роопскому пастору Дауту случилось быть в Рингене; он взял ее к себе и дал ей убежище и содержание. В Роопе жила она несколько лет в унижении под тягостным господством пасторши, женщины злой и властолюбивой. Надобно было, чтобы судьба привела нашего доброго Глика в Рооп, чтобы он увидел худое обращение этой мегеры с бедным приемышем, в котором заметил необыкновенную кротость и ум. Он легко выпросил ее у госпожи Даут, бывшей полною властелиншей в доме. С десяти лет Катерина Рабе жила у мариенбургского патриарха. С того времени расцветал этот прелестный цвет под нежными попечениями второго отца ее.

Девике Рабе минуло осьмнадцать лет. Черные глаза, в которых искрилась пронизательность ума, живость и доброта души, черты лица, вообще привлекательные, уста, негою образованные (нижняя губа немного выпуклая в середине), волосы черные как смоль, которых достаточно было, чтобы спрятать в них Душенькина любимца, величественный рост, гибкий стан, свежесть и ослепительная белизна тела – все в ней было обворожительно; все было в ней роскошью природы. Душа ее была вылита по форме ее прекрасной наружности. Лишить себя приятной вещи, чтобы отдать ее бедному; помнить добро, ей сделанное кем бы то ни было; пожертвовать своим спокойствием для угождения другим; терпеливо сносить слабости тех, с которыми она жила; быть верною дружбе, несмотря на перемену обстоятельств, и особенно преданною своему благодетелю – таковы были качества девицы Рабе. Но достоинства души, редко достигающие в удел ее полу и которыми провидение щедро наградило ее, были необыкновенная твердость и сила характера. Еще в детстве, слушая ужасные сказки, она смеялась, когда подруги ее от страха едва смели дышать. Проходя в сумраке вечера через кладбище, дети одного с нею возраста прижимались к старшим провожатым своим, шибко стучало сердце их: ее же было так покойно, как обыкновенно; она еще старалась отстать от других, спешила полюбоваться памятником, остановившим ее внимание, и тихими уже шагами их догоняла. Ей не было десяти лет, когда у соседа случился пожар: все в доме бегали и суетились; она взяла кувшинчик с

водою и, когда спросили ее, куда идешь, отвечала спокойно: заливать огонь. Твердость души девицы Рабе, столь рано умевшей пренебрегать опасностями, возмужав с летами, сделала ее способною к необыкновенным победам над собою и трудными обстоятельствами в решительные минуты ее жизни.

Некоторые из граждан мариенбургских, думая, что для бедной, незначительной девушки они слишком завидные искатели, заочно собирались просить руки ее, но при свидании с нею, по какому-то невыгодному для себя сравнению, решительно переменяли намерение свое. Так, пришедши в храм любоваться искусством художника, истощившего гений свой в дивных изображениях, забываешь, для чего пришел, и, в благоговении повергнувшись перед святынею, остаешься в храме только молиться. Девица Рабе одна не знала могущества своих прелестей: жива, простодушна, как дитя, ко всем одинаково приветлива, она не понимала другой любви, кроме любви ко второму отцу своему, другой привязанности, кроме дружбы к Луизе Зегевольд (с которою мы впоследствии познакомим нашего читателя).

Только один избранник осмелился простирать на нее свои виды: именно это был цейгмейстер Вульф, дальний ей родственник, служивший некогда с отцом ее в одном корпусе и деливший с ним последний сухарь солдатский, верный его товарищ, водивший его к брачному алтарю и опустивший его в могилу; любимый пастором Гликом за благородство и твердость его характера, хотя беспрестанно сталкивался с ним в рассуждениях о твердости характера лифляндцев, о намерении посвятить Петру I переводы Квинта Курция и Науки мореходства и о скором просвещении России; храбрый, отважный воин, всегда готовый умереть за короля своего и отечество; офицер, у которого честь была не на конце языка, а в сердце и на конце шпаги. На него, как на отличного артиллериста, вместе со старым комендантом мариенбургской крепости, подполковником Брандтом, возложена была Карлом XII защита ее. Много прав имел он на уважение девицы Рабе: она и уважала его, любила, как друга отца ее, как брата, не более. Впрочем, он не был создан для того, чтобы возбудить в ком-либо нежную, истинную страсть, придающую часто любимому человеку достоинства, которых он не имеет, между тем как равнодушие к другому отнимает у него и те прекрасные качества, которыми его природа наделила. Старее ее двадцатью годами, с чертами лица, выражающими благородство, но грубыми, напитанный суровою жизнью лагерей и войны и потому в обращении даже с женщинами не оставлявший солдатских привычек и выражений, властолюбивый, вспыльчивый даже до безрассудства – таков был искатель руки нашей героини, любивший ее истинно, но сердцем ее не избранный.

Пастор, с своей стороны, имел также виды на цейгмейстера: здесь представлялся ему важнейший случай поработать головой и сердцем, выказать свои глубокие соображения, тонкое знание людей. Он видел, он осязал уже воображением знаменитое дерево, долженствующее изумить потомство плодами необыкновенными, – дерево, которого семя таилось в его рассаднике. Великие последствия должны были произойти от предполагаемого союза бедной воспитанницы его с незначащим артиллерийским офицером! Можно ли было упустить такой случай? Правда, к страсти его все устроить примешивалось тогда и доброе намерение. «Кто искреннее меня желает счастья моей Кете? – рассуждал сам с собою Глик. – Что я обдумал для нее, то должно служить к ее благополучию... После смерти моей она останется в пустыне, где ни один голос друга на голос ее не отзовется, точно в таком состоянии, как была она после смерти своей матери. Неопытность ее опутают сетями. Она узнает нужду, горести. Ей необходим именно такой товарищ в жизни, каков цейгмейстер, мой приятель. Благородные и твердые его правила мне известны; он имеет состояние, которое обеспечит его навсегда от бедности. Умрет – и вдова храброго шведского офицера не будет забыта признательным королем. Наружность его не совсем привлекательна, согласиться надобно; но этот недостаток может пугать только ветреную девчонку, а не мою Кете. Луиза Зегевольд не помнит лица жениха своего; однако ж благоразумная мать, с помощью же нашею, умела заставить ее и заочно полюбить его

и все так устроила, следуя нашим советам, что будущий союз их должен быть пресчастливейший. Жениха же моей Кете я знаю, как самого себя; она видит его каждый день и должна быть к нему равнодушной. С ним она ласковее, нежели с другими мужчинами. Еще на днях подслушал я, как они толковали о разных чувствах, между прочим делали определение любви... О! Эти верные признаки не укроются от зоркой опытности старика. Нет, нет, лучшего мужа не иметь ей; лучшего супружества, какое им готовлю, существовать не может». Так обдумывал, рассчитывал и наконец скрепил пастор словами: быть так, сидя на коньке своем, с которого уже не было возможности его свести. Цейгмейстер не много думал и рассчитывал и, как отважный воин, решительно атаковал Глика с предложениями. Маленькая, сухая рука пастора ударила в широкую ладонь его, и вскоре, как водится, сначала околичностями, потом открыто объявлены воспитаннице виды лучшего друга первого и второго отца ее, любимца королевского, будущего коменданта мариенбургского, любезного, благородного, умного и прочее и прочее, что воспитатель мог прибрать из словаря мнимых и настоящих достоинств жениха. Между тем, на случай нечаянного отражения, он не замедлил присовокупить, что, для ускорения ее благополучия и его собственного спокойствия, согласие с его стороны дано и что она омрачит последние дни его жизни, сведет его безвременно в гроб, если откажется от счастья, которое так решительно ее преследовало. Девушка Рабе, никогда не помышлявшая о важности такого предложения, сначала испугалась, потом, сама не понимая себя, стала равнодушнее слушать повторенные вызовы своего благодетеля, который в исполнении планов своих любил в точности поступать согласно с текстом Священного писания: толцые и отверзется. Наконец твердая душа ее взяла верх над боязнью неприятного союза, ей так настоятельно предлагаемого. Она повиновалась. Сказав решительное: иду! – она не чувствовала в себе ни сильного трепета сердечного, ни страха будущего, ни сожаления о прошедшем и сама удивлялась своему спокойствию; только просила, внутренним советником побуждаемая, отложить союз этот на два месяца. Роковой срок должен был кончиться в последних числах августа. В продолжение этого времени Вульф, жених ее, остался для нее тем же цейгмейстером Вульфом, ею уважаемым, как друг ее отца и благодетеля, любимым, как брат, не более. По-прежнему пастор беспрестанно с ним ссорился и беспрестанно мирился; по-прежнему об оселок его раздражительного характера любил Глик точить свои мнения.

Мы видели воспитателя, воспитанницу и жениха ее в дороге. Куда ж едут они? – В Гельмет, к баронессе Зегевольд, ко дню рождения ее дочери Луизы, с которою познакомил пастор свою Кете ради милостивого покровительства сироте на будущие времена и с которою, между тем, вопреки неравенства состояний их, соединили ее узами дружбы нежные, благородные чувства и особенное друг к другу влечение, разумом неопределяемое и часто непостижимое. Пять лет уже, как Рабе в одно и то же время посещала Гельмет или с пастором, или, в случае важных занятий, не позволявших ему отлучиться, одна, сопровождаемая доверенным служителем баронессы, а иногда женою гелметского амтмана Шнурбауха, которую нарочно за нею присылали. Без милой Кете для Луизы день ее рождения не был праздником; не видать Луизы в этот день было для верной подруги ее то же, что потерять целый год, потому что надобно было провести его в скуке до новой радостной эпохи. Сколько готовилось памятью сердца к этому дню таинственных узелков, развязываемых только в сладкие часы доверенности с единственным другом! Сколько нечаянностей, увеселений, игр изобретала к принятию своей бесценной гостьи молодая хозяйка, ломавшая голову для них не менее пастора Глика, когда он думал о способах просветить соседственный народ. И все эти великие думы, все планы исчезали, как облако под ударом ветра, в чувстве удовольствия при первом взгляде друг на друга! Нередко мариенбургская жительница оставалась гостить по несколько месяцев в Гельмете. И как скоро проходили эти месяцы! Приезд и отъезд сливались в одну минуту: в первый забыта вся несносность разлуки, при втором радости свидания будто не существовали; слово «прости!» их все поглощало. Можно судить, с каким нетерпением ехала девушка Рабе в Гельмет ныне, когда ей

было столько нового рассказать и выслушать; язык их был только для них понятен, ибо это был язык сердца. Ключа к нему не могло найти холодное властолюбие, располагавшее ими, не спросясь голоса природы.

Цейгмейстеру сделано было мариенбургским комендантом Брандтом важное поручение, которое он должен был лично передать генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху в Гуммельсгофе, главной его квартире; а как мыза эта была на дороге в Гельмет, то он воспользовался случаем, чтобы сопутствовать приятелю своему и невесте, пока возможно было.

Фриц, наемный кучер баронессы, находившийся у ней в услужении более двух лет, из особенного уважения к пастору, всегда вызывался ехать за ним или его воспитанницею. Он вез их и нынешний раз с тою же готовностью быть им угодным. Чтобы хотя несколько удовлетворительно отвечать на вопрос, сделанный нам в начале главы, скажем о Фрице, что, несмотря на простоту его наружности и жеманство его движений, он был лукав, как дух, прельстивший нашу прабабушку в рай. Эту старую крысу трудно было обмануть; и кто бы это сделал, недолго бы прожил, как говорит пословица. Если нужно ему было отвести внимание желавшего проникнуть его тайну, то он искусным оборотом речи удалялся от предмета, который желал скрыть, останавливался и вертелся над другим предметом, по виду для него чрезвычайно занимательным, глупел и путался в речах до того, что уже нельзя было добиться от него толку. В таких случаях он поступал, как пигалица, которая, желая отвлечь охотника от гнезда, где скрываются птенцы ее, кружится с жалобным криком над другим местом, как будто дает знать, что здесь таятся предметы, ей драгоценные. Где нужно было Фрицу самому вывести или получить что-либо для него занимательное, он также начинал издалека и скрытыми, извилистыми путями вкрадывался в душу, так что кругом ее обшаривал. Обыкновенно казался он простым болтуном.

Глава пятая

Приготовления

А то, как молотком, ударить вдруг с размаха,
Так, боже сохрани! они умрут со страха,
Когда же это все улажу без труда,
Терпенью приучать примуся их тогда.

Хмельницкий

С версту вперед от Долины мертвецов, в виду менценской дороги, на холмистом мыску, обведенном речкою Вайдау, стоял красивый господский домик с такими же красивыми службами и скотным двором. Мыза эта защищалась от полуденного солнца березовою рощей, примыкавшею к сосновому лесу, наполненному столькими ужасами, о которых порассказал Фриц, от северных аквилонов – высоким берегом речки. Цветники, со вкусом расположенные и хорошо содержанные; небольшой плодovitый сад, в котором каждое дерево росло бодро и сильно, будто в соревновании одно перед другим, как члены юного, мужающего народа; зеленые пажити, на которых ходили тучные коровы; стоки, проведенные с высот; исправные водохранилища; поля, обещающие богатую жатву; работники, непраздные, чисто одетые и наделенные дарами здоровья, трудолюбия и свободы, – все показывало, что обладатель этого поместья любил жить порядочно и приятно. Казалось, что сюда перенесен был один из цветущих уголков Англии. Мыза эта принадлежала господину Блументросту, известному в Лифляндии медику. В него веровали, как в оракула; практика соответствовала его славе; деньги сыпались к нему в карман сами; между тем он не был корыстолюбив; к бедному и богатому спешил он на помощь с одинаким усердием. Блументрост много путешествовал, знал хорошо свет и людей, дорожил ученою славой и старался не только питать ее искусством своим, но и сделать ее известною в ученом мире разными важными по его части сочинениями и перепискою с университетами, считавшимися в тогдашнее время средоточиями наук. В Швейцарии познакомился он с Паткулем. Паткуль был несчастлив, угнетен, не имел отечества: добрый Блументрост полюбил его, помогал ему советами, утешениями и деньгами, не оскорбляя его бедности и несчастья. С того времени связи их укреплялись более и более; благоприятная перемена судьбы изгнанника, потом любимца Петрова, не переменяла ничего в их дружбе.

Мыза Блументроста была под особенным покровительством генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, которому он успел искусством своим оказать важные услуги; и потому к воротам, ведущим в нее, прибит был в раме, опутанной проволоочною решеткою, охранный лист, за подписью и печатью генерала, запрещавшего в нем, под строжайшею ответственностью, шведским войскам малейшее оскорбление жителям мызы и самовольное от них требование чего-либо. Жители ее, кроме хозяина... узнаем их сейчас, взойдя во внутренность красивого домика.

На балконе его, с которого видна была вкось высота с крестом, сидела в то время, как наши путешественники подъезжали к Долине мертвецов, прехорошенькая девушка лет шестнадцати. Томные глазки ее шурились, чтобы лучше видеть вдаль. Казалось, она что-то подстерегала. Одежда на ней была, какой не носят лифляндские женщины. Голову ее дважды обвила русая коса. Вместо ожерелья, на черной ленте, перевязанной около шеи, висел золотой крест, падавший на грудь, которую открывала несколько, в виде сердца, белая косынка. Стан ее приятно означал корсет из шерстяной материи каштанового цвета, с узенькими оплечьями, стягивавшийся голубою лентою, переплетенною с одной стороны на другую наподобие углов. Весь корсет был также обложен голубою лентой; такого же цвета два банта висели у конца его в середине самой талии. Широкие, тонкого полотна, рукава доходили немного ниже локтя, где они

собирались в густые манжеты. Короткая юбочка синего цвета с пунцовыми полосами, поверх нее белый передник, выходивший из-под корсета, голубые чулки, башмаки со стальными пряжками, блиставшими от солнца, в руках ее соломенная шляпка с разноцветными лентами и букетом цветов – все обличало в ней жительницу южного края Европы. Долго смотрела она в ту сторону, где крест одиноко возвышался над долиной; наконец задумалась и склонила голову на грудь. В таком состоянии оставалась она несколько минут. Неподалеку от балкона, под навесом цветущих лип и рябины, сидели на длинной скамейке трое мужчин; все они разных лет, в различных одеждах и, казалось, хотя они все изъяснялись по-немецки, – не одного отечества дети. В середине сидевший был старец. На открытой голове его небольшой ряд серебряных волос, от времени сбереженных, образовал веночек; белая, как лебяжий пух, борода падала на грудь. Лицо его дышало благостыней. По-видимому, он был слеп. Широкая пепельного цвета одежда его, похожая на епанчу, с длинным, перекинутым назад капюшоном, была опоясана ремнем. На груди имел он маленькое хрустальное распятие, в котором солнышко, прокрадываясь сквозь листья дерев, по временам играло. Обувь его походила на сандалии. Двумя иссохшими руками держался он за ручку ветхой скрипки, приклоня голову на край ее, а другой конец ее опирая на колена. По правую сторону сидел крестьянин, похожий на немецкого мызника, лет пятидесяти или без малого; он был без верхнего платья, в длинном камзоле из тонкого красного сукна, с рядом блестящих пуговиц, в синих коротких исподних платьях, пестрых чулках и башмаках со стальными пряжками. Русые с проседью волосы его подбирались со лба назад и сдерживались роговым гребнем. Лицо его было полно и румяно, как осень; движения и разговор его – свободны. Он был скучен. Левую сторону скамейки занимал высокого роста мужчина, крепко и стройно сложенный. Если б надобно было отгадывать его лета, то по приятным, тонким чертам его смуглого лица, по огню его карих глаз нельзя было б ему дать более тридцати лет; но проведенные по возвышенному челу его глубокие следы размышления, работы сильных страстей или угнетения гневной судьбы, предупредивши время, накидывали в счете лет его еще несколько. С открытой головы его бежали обильно на плечи кудри, черные как вороново крыло. Борода у него была обрита. Верхняя одежда его, из грубого синего сукна, походила на венгерскую куртку; камзол и исподнее платье такого же цвета были немецкого покроя; гибкий стан опоясывался черным кожаным ремнем с медною пряжкой; ноги до самых башмаков обрисовывались узкими шведскими штиблетами. Он был весь тревога: то погружался в глубокую задумчивость, то, вдруг встрепенувшись, как будто поражен был ожидаемым вестовым звуком, прислушивался с жадным вниманием; то вставал, прохаживался по цветнику быстрыми шагами, поглядывал на девушку, сидевшую на балконе, и опять садился. Казалось, от нее должен был он услышать роковое для него слово; однако ж наверно можно было догадаться, что это не было слово любви. В глазах его выливалось нетерпение души беспокойной, грустной, которой предмет был далек, а не изъяснения нежного чувства предмету видимому. С левой стороны скамейки приставлены были к ней складной стул и какой-то продолговатый, неглубокий ящик, с приделанными к нему ремнями, вероятно служившими для поднятия и носки его. Напротив лавки лежал, развалившись на траве, огромный детина, вершков шестнадцати вышины, плечистый, сутуловатый. Это была олицетворенная доброта. Русые волосы его, небрежно распущенные по плечам, серый кафтан из ватмана [грубое латышского изделия сукно], хотя и тоньше обыкновенного, башмаки без подошв из желтой кожи, стянутые, а не сшитые, обличали в нем природного лифляндского домочадца или человека, его представлявшего. Он ничего не говорил, но объяснялся движениями рук так хорошо, что его всякий мог понимать.

– Что с тобою сделалось, Баптист? – сказал слепец, обращаясь к сидевшему по правую руку его.

– А что такое? – отвечал сухо вопрошаемый.

– Как что! ты нынче неразговорчив, как дух долины или наш немой.

– Эх, Конрад! ты не ведаешь моего горя: целые пять кругов сыру не удались, хоть брось их, а все по милости моей Розки. С некоторого времени, богу известно, что с нею делается: за что ни примется, валится все из рук! А кажется, ты знаешь, швейцары не любят хвастаться; мать ее считалась во всей округе Лозаннской первой молочницей; да и в девчонке виден был прок. Ныне же говоришь ей – не слышит; толкуешь – не понимает; сама говорит – путается. Бывало, резвится и прыгает, как вольная козочка наших гор; теперь быть бы ей одной да задумываться, как пастор над сочинением проповеди.

– Не больна ли она чем? Чадолюбивая природа открыла мне некоторые таинства свои на пользу моих ближних, и я постарался бы исцелить ее.

– О! кабы так, не помешкав приступил бы я к тебе с просьбою помочь моему детищу, которое, после смерти матери своей и в разлуке с родиной, заменяло мне их. Я знаю, как ты доточен на эти дела. Давно ли ты избавил меня от смерти? Порезав себе косою ногу, я обливался кровью; сам господин Блументрост не мог остановить ее: тебя подвели ко мне; ты обмакнул безымянный палец правой руки в кровь мою, текущую ручьем, написал ею на лбу моем какие-то слова...

– Совершишася.

– И кровь остановилась. Помню, как добрый господин всплеснул руками, ахал, пожимал плечами, обнимал тебя и обещал тебе груды золота за открытие твоей тайны.

– Я не согласился тогда; но скоро, скоро придет время сдать ее и многие другие нашему общему благодетелю. Не хочу, чтобы они умерли со мною. Да, мы говорили о бедной Розе! Спрашивал ли ты ее хорошенько, что у нее болит? не тоскует ли она по родине?

– Спрашивал, и только слышал: «Так, батюшка! ничего-с, батюшка! нет-с, батюшка!»

– Странно! (Тут слепец вздохнул глубоко.)

– Вот мы ее поставили караульщицею на балконе, а она, когда б ты видел, сидит, повесив голову на грудь, как убитая птичка. Ну право, я распрощаюсь скоро с добрым господином Блументростом, возьму котомку за плеча и утащу Розку в свою Вельтлинскую долину, в божью землю, где нет ни войны, ни печали, ни угнетения: может быть, она расцветет опять на свободных горах ее, под солнцем полудня.

Слепец еще вздохнул и примолвил, настроивая свою скрипку:

– Сделаем последний опыт!

Сладив строй бедного инструмента своего, он заиграл швейцарскую песню: *Rance de vache*. Первые звуки ее заставили Баптиста затрепетать; он вскочил со скамейки, потом зарыдал и, наконец, не в силах будучи выдержать тоски, стеснявшей его грудь, вырвал скрипку из рук слепого музыканта. Роза, казалось, не слыхала песни родины.

– Что Роза? – спросил слепец.

– Роза? – вскричал, всхлипывая, швейцарец, смотря на нее. – Она... не дочь моя!

Немой утирал себе глаза рукавом. Он плакал оттого, что другие плакали. Слепец ничего не говорил, поникнув грустно головой. В это время младший товарищ, прежде сидевший с ними на одной скамейке и теперь прохаживавшийся по цветнику, взглянул на балкон и, увидя, что Роза вместо того, чтобы исполнять должность караульщицы, сидела в горестной задумчивости, из которой не могли, как он слышал, исторгнуть ее родные звуки, подошел к балкону и произнес потихоньку одно слово: «Фишерлинг» так, чтобы оно только до нее дошло. Девушка от этого магического слова вострепнулась, осмотрелась вокруг себя; покраснела, увидев под балконом свидетеля ее душевной слабости; взглянула на возвышение креста, с испугом закричала:

– Знамя! – и бросилась бежать во внутренность дома. Явившись в цветнике, она остановилась перед собеседниками, как преступница. Отец сурово посмотрел на нее; убийственный взор его говорил: ты не швейцарка! Видно было, что Роза собиралась плакать; но черноволо-

сый мужчина быстро и крепко схватил ее за руку и увлек за собою. У тына, к стороне роши, была калитка. Могучею рукою распахнул он калитку и, втолкнув в нее девушку, сказал ей:

– Узнай все вернее и скорей! Если ты уж этого хорошенько не выполнишь, что скажет, что подумает о тебе господин Фишерлинг?

Глаза его в это время блистали, как огонь зарницы в удушливой атмосфере; слова его казались бедной Розе громом, ужасным, хотя еще издали гремящим. Исполнение их было для нее смертным ударом. Она скрылась, и черноволосый стал на страже, как изваянный гений, прикованный к гробнице.

Пока все это происходило на мызе господина Блументроста, Фриц, сообразно местоположению, стратегически расположил свои действия. Надобно сказать прежде объяснения их, что место, где расположилось наше странствующее общество, было довольно далеко от края роши, примыкавшей с одной стороны к ущелью привидения и простиравшейся назад на неопределенное расстояние; ибо чем далее взор в нее углублялся, тем более учащали для него преграду деревья и сети их зелени. Мимо лагеря наших путешественников проходила сквозь рощу тропа мало пробитая, которая вела, по-видимому, из Адзеля и спускалась с холма на мариенбургскую дорогу. Мы видели, что карета стала в долине там, где речка и подножие холма сходились углом. Лошадей привязал кучер к деревьям, в недалеком расстоянии, и задал им овса, которым запасся на дорогу; потом перескочил по камням через речку, пробрался сквозь рощу, в которой, сказали мы, терялась по кособогу дорога в Менцен, прополз по обнаженной высоте за крестом и у мрачной ограды соснового леса, к стороне Мариенбурга, вскарабкавшись на дерево, которого вершина была обожжена молниею, привязал к нему красный лоскут, неприметный с холма, где были наши путешественники, но видный вкось на мызе. Волнующееся знамя было оставлено в этом положении на несколько минут. Сняв его, Фриц опустился проворно на землю, пробрался тем же путем назад, подошел к лошади нашего цейгмейстера, расстегнул небольшой чемодан, висевший у седла, пошарил везде и вынул куверт. Он был запечатан, но сургуч печати был так худ, что удобно ломался. Не думав много, кучер изломал печать, положил крошки сургуча в камзол, застегнул по-прежнему чемодан и, держа крепко в руках сокровище свое, нырнул в страшное ущелье. Здесь, следя глазами известные ему приметы, он пролезал ужом сквозь кусты, перескакивал через пни, как лань, и, задыхаясь, очутился наконец у огромного, бурею разорванного дерева, далеко уронившего косматый верх свой от дупловатого корня. Там, где треснуло оно, выставились два острые клыка, повыше коих светились два отверстия наподобие глаз. Кругом возвышались столетние вязы, дружно размахнув на жилистых ветвях своих широкотенные щиты; они заслоняли от этого места солнечный свет – настоящее царство мрака и ужаса! Между деревьями и дуплом кое-где торчали памятники великого земного переворота – огромные, красноватые, будто кровью обрызганные, камни, до половины вросшие в мох и представлявшие разные уродливые образы. Ни одна птичка не смела здесь показаться, не только оживить эту пустыню своими песнями. Только изредка шелест листьев, тревожимых ветром, и пресмыкающихся животных казался шепотом злодейского заговора; лишь по временам шуркал перелет филина, и крик его или скрип сухих деревьев, как стоны умирающего под ножом разбойника, жалобно раздавались. Окрестные жители разглашали об этом месте много дивных ужасов, которых и сотую долю не рассказал Фриц нашим путешественникам.

Он осторожно постучался палочкой в дупло раз, потом два, наконец три раза.

– И, – произнес из дупла тонкий голосок.

– Ли, – отвечал конюх.

– Я, – продолжал прежний голосок.

– Муромец! – сказал отрывисто второй.

Вслед за этим словом выскочила из дупла швейцарка. Глаза ее блистали в сумраке, как ночью два светляка на распускающейся розе.

– Порядочно я вас дожидалась, господин Трейман! – сказала девушка испорченным немецким языком.

– Не могу же я бегать, как ты, швейцарская козочка! мне уж под шестьдесят, Розхен! Да скажи мне, здесь ли наш молодой старшина?

– Вы говорите о господине Фишерлинге? – отвечала она, смутившись, и лицо ее вспыхнуло, потом, оправившись немного, она продолжала: – Он был вчера здесь... ждал вас с нетерпением и уехал вчера же. Мне некогда с вами распевать. Угрюмый швед приказал узнать о новостях: кажется, он готов был перешвырнуть меня к вам, как мячик; а теперь того и гляди, что прибьет меня, если я не скоро явлюсь к его милости.

– Передай ему эти бумаги и скажи, чтоб он списал их поскорее, прислал с тобою же не медля и пришел с товарищем на адзельскую тропу; мимоходом шепни ему ж, что «звезда вечерняя» – невеста, «дорожный столб» – жених; пускай делают они из этого, что хотят! Отца попроси, чтоб он стал в шагах пятидесяти отсюда с заряженным ружьем. Не забыть мне чего. Да, да, приведи с собою Немого. Теперь все.

Девушка ничего не отвечала, кивнула ему дружески и юркнула в густоту леса. Фриц дожидался ее не без сердечного волнения и между тем говорил сам с собою таким образом: «Ну, если вздумается проклятому пушкарю сойти в долину к одру своему и осмотреть чемодан? Пропал я тогда! Вульф прихлопнет меня на месте, как комара, и не даст разу пискнуть. По крайней мере в последний раз дохну, служа моему господину, как приказывал мне ему служить умирающий отец его. Не своему брату, знатному дворянину, поручал он сына со смертного одра своего; нет, он поручил его слуге, дядьке, зная, что никто более меня любить его не может, что десять ножей противу сердца этого служителя не вынудят у него измены». Фриц казался тронутым: глаза его были мокры. «Некстати разнежился ты, старик! – примолвил он, утирая глаза рукавом. – Кремень должен высекать огонь, а не воду. Господин мой трудится для блага своей родины, я – для него; бог нам помощник! Ах! кабы творец милосердый выбросил из сердца его одно злое семя... Пускай проказничает он со шведами, как хочет; здесь доброе намерение – устроить судьбу его братьев-лифляндцев, как он говорит, верю ему и готов с удовольствием положить за него жизнь свою в этих проказах. Но... в делах любовных боюсь сердца его, мягкого как воск и так же, как он, изменчивого; боюсь, чтобы он не скушал бедной овечки! Что будет тогда с несчастным отцом? что будет со мною?..»

С этими словами Фрица одолела вещая грусть; но вскоре, приняв бодрый вид, он положил крестообразно руки на повалившееся дерево, припал ухом ко пню и сделался весь слух и внимание. Минут через пятнадцать вынырнула опять из дупла пригоженькая посланница. Щеки ее горели, грудь сильно волновалась; стоя возле нее, можно было считать биенье ее сердца. За нею с трудом выполз Немой, пыхтя, как мех; он обнял дружески Фрица и погрозились пальцем на Розу.

– Как устало милое дитя! – сказал конюх, поведя одною рукою по лбу швейцарки, а другую принимая от нее куверт.

– Скоро ли я пришла? – спросила она.

– Ты не шла, а, верно, летела, как птичка. Что швед?

– Писал, чертил что-то с ваших бумаг и потащил товарища, куда вы назначили. Бедный! он, наверно, старинушку понесет, как пастух хворую овечку, а то куда слепому? и зрячему за ним не поспеть!

– Где твой отец?

– Стоит на карауле.

– О! да я его вижу сквозь сучья; он кивает мне головой, добрый старик! Здорово, здорово!.. Ступай же к нему, Розхен, и скажи, чтобы он, как скоро увидит красный значок Немого на высоте креста, тотчас выстрелил из ружья по воздуху и немедленно воротился домой. Про-

щай, милое дитя! Бог и ангелы его с тобою: да избавят они тебя от злого искушения!.. Но ты побледнела, Роза. Не дурно ли тебе от беганья и жару?

– Ничего, так, ничего... пройдет! – сказала она, щипля рукою передник свой.

Фриц глубоко вздохнул и примолвил, качая головою:

– Хорошо б, если прошло! Прощай!

Он поцеловал девушку в лоб, махнул рукою дюжему латышу и погрузился с ним в чащу леса. По приметам, которые Немой еще лучше знал Фрица, потому что ни разу не останавливался, служа уже ему вожатым, они пришли к лошадям. Здесь конюх поднял глаза к небу, чтобы благодарить его за что-то, расстегнул выюк, положил куверт с крошками рассыпавшейся печати на прежнее место и, опять застегнув выюк, перевернул его вместе с седлом на бок лошади; потом вынул из чушки пистолет, разрядил его бывшим у него инструментом, положил его по-прежнему, высек огонь из огнива, которое имел с собою, прожег и разодрал низ чушки. Все это было делом минут пяти, не более. Лошади были напоены; из них Вульфова вручена Немому с особенными, строжайшими наставлениями. Сметливый Немой кивал только и, вдруг приняв важный вид, черкнул себе пальцем по шее, как будто желая дать знать, что он отвечает за исполнение головою. По расположению таким образом плана, давно придуманного, конюх спешил отнести дорожные припасы к путешественникам нашим.

Глава шестая

Повесть слепца

Гони природу в дверь, она влетит в окно!

Карамзин

Солнце едва сдвинулось с полуденной точки, палящий зной, ослабевая неслышно, был еще нестерпим. Намет, под которым отдыхал пастор, не раскрывался. Девушка Рабе рассказывала Вульффу, каким образом, после двадцатилетних странствий и бед, наградились верная и нелицемерная любовь Светлейшей Аргениды, и вдруг, остановившись, начала прислушиваться.

– Что вы, сестрица? – спросил цейгмейстер.

– Голоса человеческие! – отвечала она. – С адзельской стороны.

– Милости просим, отсюда некому быть, кроме приятелей. Впрочем, я ничего не слышу. Не обманул ли вас ветерок? Правда, теперь и до моего уха что-то коснулось.

В самом деле, сначала невнятно долетал до слуха смешанный говор, как ропот ветерка в листьях, потом стал яснее и громче, и, наконец, показались по тропе из Адзеля два человека, медленно по ней шедших. Наружность их возбудила внимание девушки Рабе. Это были слепец и черноволосый. Последний держал в правой руке круглую шляпу, между тем как другая рука служила спутнику вожатаем и опорой. Он с видимым терпением укорачивал шаги свои, соразмеряя их с ходом старца. Ящик и складной стул были прикреплены на спине его широкими ремнями, которые крестом перехватывали грудь и застегивались наперед двумя медными пряжками. Сверху стула висела еще небольшая котомка. Поравнявшись с девушкой Рабе и Вульффом, он приветливо им поклонился. Воспитанница пастора просила жениха своего пригласить странников закусить с ними, чтобы не упустить случая, как она говорила, сделать удовольствие ее воспитателю. Вместо ответа цейгмейстер спешил перехватить путникам дорогу.

– Добрые люди! – произнес он, обратившись к ним. – Вам жарко теперь идти. Не хотите ли отдохнуть с нами и разделить нашу походную трапезу?

– Благодарю вас, господин офицер, за себя и моего товарища! – отвечал младший путник. – Мы поднялись недавно и хотели только пробраться через рощу, чтобы на конце ее присесть. С удовольствием принимаем радушное предложение ваше и прекрасной госпожи, которой, как я заметил, вы посланник. Товарищ! – продолжал он с нежною заботливостью, обратившись к слепцу. – Мы пойдем теперь без дороги; берегись оступиться.

Слепец, крепко прижавшись к руке своего проводника, побрел еще медленнее. Нетерпеливая девушка спешила к ним навстречу, подхватила старика за руку с другой стороны и провела его к месту своего отдыха, приговаривая между тем:

– Сюда, сюда, дедушка, на эти подушки; тебе здесь будет покойнее.

– Голос... точно знакомый! – сказал встревоженный слепец, прислушиваясь к речам девушки Рабе, как будто стараясь припомнить, где он его слышал. – Голос ангела! Куда бы не пошел я за ним? Сяду и буду делать, что тебе угодно. Господь да пошлет тебе свое благословение и да возвеличит род твой, как возвеличил род Сарры и Ревекки!

Товарищ его осторожно снял ношу свою, приставил ее к дереву, молча поклонился еще раз Вульффу и невесте его. Все общество расположилось, по удобности или по вкусу, кто на подушках из кареты, кто на мураве. Слепец, сидя на двух подушках, возвышался над всеми целою головою: казалось, старость председавала в совете красоты и мужества.

– Откуда вы, добрые люди? – спросила Рабе.

– Мы не знаем, откуда и куда идем, – отвечал слепец, – а придем, куда всем, царю и селянину, бедному и богатому, назначена общая гостиница.

– Мы просто странники, – подхватил черноволосый, – идем из Адзеля в Менцен, оттуда проберемся, куда глаза взглянут и сердце позовет.

– Чем же вы живете? – спросила опять девица Рабе.

– Искусством нашим, – отвечал черноволосый. – Я играю на гусях, товарищ мой на скрипке и поет.

– Попад на эту бедную землю, – продолжал слепец, – все мы живем для того, чтобы дожить; но выполнить этого не можем, не нося тяготы один другого. Он помогает слепцу ходить; мы друг друга утешаем беседою и дружбой; оба, по возможности нашей, доставляем другим удовольствие и за это награждены. Такова в мире в разных видах круговая порука!

– О, да ты и мудрец, как я вижу! – возразил цейгмейстер.

– Много чести, господин! Бродя по белому свету, видеv много людей, изучая природу, можно кое-чему научиться. Впрочем, в великой книге того, кто один премудр, мы читаем еще по указке.

– Ваша родина? – спросила девушка.

– Обоим нам родина Швеция, – отвечал слепец.

Капитан пожал руку старика так, что он поморщился, и воскликнул:

– Камрады-соотечественники! не одного ли поля ягоды?

– Я из Торнео, а товарищ мой из Выборга.

– Мое же гнездо судьба свила почти на перепутье этих мест, именно в Абове. Я центр, как вы видите, а вы, фланги мои, отныне должны поступить ко мне в команду, и потому...

– Прошу заранее уволить нас от этой чести. Один, дряхлый, будет отставать, другой, может быть, погорячится и уйдет вперед, и ваша линия расстроится.

– Доннерветтер! он рассуждает, как старый капитан. Ваше имя и прозвание?

– Мы люди простые, и потому нас просто зовут: меня Конрадом из Торнео, его Вольдемаром из Выборга. Думаю, что этими именами потребуют нас в день последнего суда; разве там прибавят к ним, по делам нашим, новые прозвания!

– Не в лесу же выросли вы, как дождевики! Верно, были у вас отец и мать? Кто твои, молодец?

– Я родителей моих не знал, – отвечал Вольдемар, – впрочем, повесть сиротства, бедности и нужд не может быть занимательна ни для воина, который все это почитает вздором, ни для прекрасной госпожи, начинающей только жить.

– Но ты много странствовал, много видел? – продолжал вопрошать цейгмейстер таким тоном, каким член комиссии военного суда отбирает по пунктам отзывы от своего подсудимого.

– Я и теперь под чужим небом; видел людей, которые везде одинаковы, – возразил младший музыкант, неплодовитый на ответы и приметно несклонный к откровенности. Голос его в этом возражении отзывался какою-то раздражительностью характера, несогласною с наружностью смиренного странника.

– Ответ короток и убедителен, как приклад часового, поставленного у поста, куда одни избранные, с паролем, имеют право входить. Дозволь, по крайней мере, спросить тебя, камрад: давно ли ты оставил Швецию?

– Лет... если не ошибаюсь... десяток.

– Столько, сколько греки осаждали Трою! Вероятно, сильное время, походы, удары неприятельские стерли с орудия шведского надписи, где оно вылитое, и прочее и прочее. Я разумею, что время, странствия, несчастья твои, Вольдемар, могли истребить отечество из памяти и сердца. Ты молчишь? Да, отечество.

До сих пор Вольдемар сидел, несколько согнувшись, опустив голову на грудь; пасмурное лицо его выражало глубокую задумчивость, из которой выводил его только сильный голос вопрошателя, способный, кажется, разбудить и мертвых от сна; иногда улыбка бродила по блед-

ным устам его; однако ж видно было, что приличие выдавливало ее на них без согласия сердечного или лукавство приправляло ее насмешкою своею. При повторенном слове «отечество» вся сила души его вылилась наружу, как будто в этом роковом слове заключалась единственная власть, могущая приводить ее в движение. Он затрепетал; глаза его засверкали, как мрачная туча образдившею ее молниею; лицо его, доселе помертвевшее, оживилось пробежавшим по нем румянцем; стан его распрямился; изгладились следы бедствий с лица его и заменились печатью возвышенных чувств.

– Отечество?.. Помню ли я его? люблю ль его?.. – произнес странник, и, несмотря, что голос его дрожал, он казался грозным вызовом тому, кто осмелился бы оскорбить его сомнением в любви к родине. Но вдруг, будто испугавшись, что высказал слишком много, он погрузился опять в то мрачное состояние, из которого магическое слово вывело его.

– Труба военная не красноречивее твоего голоса протрубила бы атаку перед рядами неприятельскими! – воскликнул цейгмейстер и потрепал дружески Вольдемара по плечу. – Этому коню не нужно давать шпор: видно, какой он породы. Ни слова более! – я тебя понимаю. Но добрых сынов отечества, кроме любви к нему, должно воспламенять другое, столь же святое чувство: любовь и преданность к государю. Правда, ты оставил благословенное северное царство, когда молодой государь твой не вступал еще на престол, и ты, вероятно, в странствиях своих не успел узнать и полюбить его.

– Это правда! Меня... не было тогда в... Швеции, – отвечал младший странник, несколько смутившись и потупив глаза, которыми боялся, может быть, встретиться со взорами его собеседников, чтобы они не прочли в них исповеди его помышлений. Потом, оправившись несколько, он продолжал довольно твердо: – Люблю государя своего, как могу. Чего хотеть возвышенного и постоянного от странника? Впрочем, вы не исповедник, я перед вами не кающийся грешник и не обязан давать вам отчета в делах своих, еще менее в своих чувствах. Придет, может быть, время, вы узнаете меня короче.

– Я не имею права атаковать приятельскую фортецию, где заперлась твоя тайна! – с усмешкою произнес Вульф и начал ломать голову насчет таинственного странника.

– Всякий человек есть загадка, – возразил слепец. – Добрая госпожа! мне послышалось, вы о чем-то спрашивали меня. Мы, люди старые, тугоньки на ухо.

– Нет, дедушка, – отвечала Катерина Рабе, бывшая доселе внимательною слушательницей разговора, которым жених ее завладел, и теперь обрадованная, что ей давали случай быть участницей в беседе. – Я не спрашивала, хотела бы спросить: правда ли, что на родине твоей среди лета солнце не садится, а среди зимы не бывает дня?

– Правда! Там горнило божиих чудес. Край этот очень, очень далеко отсюда.

– Как же ты, слепой, сюда зашел?

– Перст провидения указал мне друга, и он довел меня сюда. Юность любопытна; вижу, от нее не скоро отделаешься простыми ответами.

– Да, не скоро, дедушка! – примолвила собеседница с лукавой откровенностью.

– Вам хочется, добрая госпожа, узнать повесть моей жизни. Не всякому ее рассказываю; но – не знаю, почему я полюбил вас так скоро, – от вас не утаю ее.

– Расскажи, пожалуй, расскажи, мой хороший, мой добренький старинушка!

– Слушайте ж. Я родился там, как вы сказали, где среди лета солнце, не отдыхая, совершает путь свой, где несколько зимних дней – круглая ночь, как для слепца все дни жизни его. Отец мой, бедный ремесленник, жил в деревушке близ Торнео, он выделявал кожи диких зверей; матери я никогда не видал. Я был у него один как перст. Природа странно создала меня: в те лета, когда другие рвут играючи цветы на лугу жизни, я бегал детских игр, я уж задумывался и, тревожимый непонятным чувством, искал чего-то, сам не зная чего. Отроку, дома мне было тесно, мне было душно. В прогулках своих я не любил ходить по спокойным пробитым дорогам; нет, я старался быть там, где следа человеческого не видано, кроме моего, куда можно

было пройти с опасением упасть и погибнуть или с радостною надеждой быть там первым. Как векша, вскарабкивался я нередко на один любимый утес мой, выдавшийся в море. По целым часам сиживал я на скале. С нее взорами скользил я по необозримой равнине вод, спокойных и гладких, словно стекло, то любовался, как волны, сначала едва приметные, рябели, вздымались чешуей или перекатывались, подобно нити жемчужного ожерелья; как они, встревоженные, кипели от ярости, потом, в виде стаи морских чудовищ, гнались друг за другом, отрясая белые космы свои, и, наконец, росли выше и выше, наподобие великанов, стремились ко мне со стоном и ревом, ширялись в блестящих ризах своих. Казалось, хотели они обхватить меня своими объятиями, которых холод я уже ощущал, и, ударяясь об утес, ропотно исчезали. От домашней трапезы убегал я смотреть на радужную игру северного сияния. Когда другие спали крепким сном, в полуночные часы спешил я украдкой, с трепетом сердечным, как на условленное свидание любви, проводить утомленное солнце в раковинный дворец его на дно моря и опять в то же мгновение встретить его, освеженное волнами, в новой красоте начинающее путь свой среди розовых облаков утра. Сколько раз в тиши осеннего вечера, один под открытым небом, усеянным звездными очами, освещенным великолепным ночником мира, терялся я умом и сердцем в неизмерности этой пустыни, исполненной величия и благости творца! В эти дивные, таинственные мгновения никто не мешал мне беседовать с моим богом. Я забывал тогда дом, деревню, отца – все, что только знал от рождения; мне казалось – я был один в свете, я сбросил с себя в прах земную оболочку: мне было так легко, так сладостно... Изъяснить это никто не может; чувствовать же можно только во дни отрочества, когда демон страстей не разочаровал еще нашей жизни. Со слезами на глазах засыпал я там, где заставляли меня эти часы блаженства неземного. На другой день встревоженный отец, следя полуночника по мхам и кустарникам, находил меня спящим под открытым небом. Хищные звери могли бы съесть меня! За мои побеги я был строго наказываем.

– И поделом! – примолвил Вульф. – Лучше было помогать отцу работой и молиться дома, чем шататься, как сумасбродный, куда глаза глядят, без цели и пользы. Ты, верно, скоро исправился?

– Вы не отгадали, господин, я никогда не исправлялся, как лоза тростниковая, которую можно гнуть, втоптать в землю, исторгнуть с корнем, а не переломить. Отец мой думал по-вашему; так же рассуждали соседи наши, говоря: «Прежде, нежели на этом малом пуков десять розог не переломаешь, из него ничего доброго не выйдет». Они не знали, и вы, господин, не знаете, как трудно побеждать сильные врожденные склонности; вам неизвестна эта жажда удовлетворять им, эта грусть, рождающаяся от препятствий. Запрещаемое сделалось для меня еще привлекательнее: так бывает обыкновенно. Через несколько времени все, что я видел великого, ужасного, прекрасного в мире, все, что теснилось в грудь мою, я хотел высказать, но высказать не простым разговорным языком; нет, по своему равному, странному характеру своему, я хотел это выполнить каким-то особенным, размеренным языком, о котором дал мне понятие один английский купец, приезжавший каждое лето в Торнео и оттуда заходивший всегда в нашу деревушку для покупки кож. Он полюбил меня, узнав мою склонность к поэзии, как он говорил; давал отцу моему хорошие барыши, чтобы он не наказывал меня за своевольство; нередко, в прогулках своих, брал меня с собою и читал мне что-то из книги. Он называл ее «Потерянный рай». Я ничего не понимал, но мне было приятно, очень приятно его слушать; не зная языка, мог я, однако ж, с помощью слуха сказать ему, что он читал: песни ли ангелов, у престола всевышнего поющих ему хвалу чистого сердца, или безумный ропот беснующихся на творца своего, бунтующий ад или красные, райские дни. Я мог, согласно понижению или возвышению голоса, разделять ударами руки моей какую-то правильную меру. Часто говорил я сам с собою, читал вслух создания восторженной души, повторял их и выучивал на память. Наконец, для меня не довольно было, что картины, мною изображаемые, казались мне живыми сколками с природы; не довольно было, что я сам наслаждался ими: я желал, чтобы и другие

чувствовали все красоты их, чтобы они их хвалили. Когда я прочел на память одно из своих произведений отцу моему, он назвал меня сумасшедшим и с угрозами посадил за работу; когда я прочел его одноземцам своим, они покачали головою и молча со страхом отошли от меня, как от чумного. С нетерпением ожидал я лета. Оно пришло, и с ним явился англичанин, который один разумел меня. Услышав мои поэтические видения, как он называл их, он обнял меня крепко и, поцеловав в голову, сказал: «Ты – поэт! в Лондоне, в Стокгольме поняли бы тебя». Он присовокупил, что там выучился бы я писать и передавать бумаге творения свои так, чтобы они не умирали. Много, очень многое говорил он мне тогда, чего теперь не припомню. С того времени слова его беспрестанно отзывались в моем сердце; они не давали мне покоя и во сне. «Ты – поэт!» – твердил мне беспрестанно какой-то демон. Я не выдержал, я бежал из дому родительского и направил путь мой в Стокгольм. Мне было двадцать лет. Много странствовал я, много терпел нужды и, за чем пошел, того не нашел. Как бродягу, в Рангдале остановили меня и записали в солдаты.

– Порядочная холодильня для стихотворного жара! – прервал речь его цейгмейстер. – Зато с этого времени повесть твоя начнет разогреваться воспоминанием солдатской жизни. Признаюсь, старик, люблю слушать рассказы изувеченного солдата о трудных походах, любимых полководцах, жарких сражениях. Полки движутся, делятся, строятся; стрелки вперед – как бесенята, перекидываются мячиками; дуру-бабушку с костылей долой: мигнул ей глазом – паф! и заколыхалась колонна неприятельская. Весело сердцу артиллерийскому! Летучие сме-тили проказы старушки и понеслись докончить палашом, что начала пушка: поле, как мост понтонный, стонет и, кажется, – зыблется от топота конницы: врезались, смяли, сокрушили, и – наша взяла! Виват! Здесь все жизнь, все движение! Вот что я люблю послушать, доннерветтер! Вот тогда-то я ушами вижу, сердцем слышу! А что мне до мяуканья, с кашлем пополам, ваших стихотворов на козых ножках:

Фиялочка прелестна!
Почто в лесу цветешь?

или:

Она сидит, она глядит...
и с места ни шагу!

– Иному талант, иному другой, – возразил слепец с некоторой досадой. – Привычка – вторая природа. Сколько ни стучи по натянутому на барабане пузырю, он ничего не издает, кроме однообразных звуков, прошу не погневаться.

– Старик! – вскричал Вульф, как порох, вспыхнувший от гнева. Он хотел что-то присовокупить, но девица Рабе убедительно посмотрела на него, и слова замерли на его устах.

– Оставьте меня слушать занимательную повесть старика, – сказала она, кивая цейгмейстеру, – он для меня ее рассказывает.

– Уж конечно, не для солдата! – примолвил слепец с сердцем. – На чем, бишь, мы остановились? Да, помню, помню! Волей или неволей дал я присягу шведскому королю служить ему. Казармы, стук ружей, приказы грозного капрала, военные эволюции, а иногда и экзекуции пробудили меня от сладкого сновидения. Воображение мое угасло, сердце одеревенело. Земля представилась мне смрадною глыбой; страсти, подобно гадам, выползали из нор своих в окружили меня; кандалы моего существования влачились по пятам моим. С лишком восемь лет был я под ружьем. Начальники называли меня бестолковым солдатом, товарищи – тюленем. Я искал утешений. В часы досуга я выучился играть на скрипке у органиста одной из церковей упсальских, где полк наш стоял гарнизоном. Он же был моим учителем чтения. Первая

книга, которую я уразумел, была псалтырь. Горячие слезы, капавшие на эту книгу, исполняли душу мою высшим наслаждением; с ними я обрел опять моего бога. Время искуса прошло, и я, за слабостью зрения, получил отставку. Страхнув у городского порога всю нечистоту неволи, я полетел на родину. Но как там все переменялось! Вместо дома отца я нашел его могилу. Можете судить, что я, неблагодарный, безрассудный сын, чувствовал, припав на нее! Виножник смерти отца, думал я, куда мне было обратиться? Я хотел видеть предметы, некогда мне любезные; и что ж: море показалось мне обширным гробом; над любимым моим утесом вились вещие враны, в ожидании, что приветливая волна подарит им для снеди остатки того, что был человек; черные, угрюмые тучи застилали от меня звездное небо; стон ветра нашептывал мне проклятия отца. Я спешил удалиться от этих ужасных мест. Долго скитался я по селам; товарищ, столько же верный, как и горе, скрипка доставляла мне пропитание, песни божественные – утешение. Томимый жаждою познаний, я возвратился, свободный, туда, где жил поневоле. Сначала определен я при Упсальском университете привратником, потом, долго ли, скоро ли, сделался в нем студентом. Смейтесь, господин офицер! вы видите перед собою упсальского студента богословия и поэзии!.. Мне ль оскорбляться вашим смехом – и об Нем, чудясь, спрашивали: откуда Ему сие?.. Неужели вы никогда не читали в писании: камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделался главою угла? От господ сие соделалось, и есть дивно в очах ваших?.. В университете любил меня особенно один профессор, Томас Бир...

– Извините меня, господин цейгмейстер и вы, фрейлейн! – сказал Фриц, подкравшийся к собеседникам и начинавший раскладывать разные блюда с закускою, на дорогу запасенною.

– Ты нас испугал, Фриц! – прервала его девица Рабе.

– Виноват! – продолжал кучер с лицом светлым, как полный месяц в морозную ночь, потирая себе ладонями по груди, будто у него что-нибудь тяжелое отходило от сердца.

– Я обрадовался, что вижу людей живых в этой долине; между тем услышал о Бире и хотел спросить: не сын ли его наш Адам?

– Сумасшедший, как отец его! – возразил цейгмейстер. – Тот смотрел все на небо, предвещал конец мира и едва ли не уморил себя и свое семейство в богадельне; этот все смотрит под ногами и болтает беспрестанно об усовершеннии рода человеческого!

– Пускай это говорят те, которые сами не видят далее ядра, пущенного наторелым бомбардиром! – воскликнул слепец с негодованием. – Да, я знаю Адама; он любил меня, как родного, когда я был еще привратником. Отец его прикрыл наготу моего ума и души крылом серафима. Божий человек! Он был добр, яко голубь, и мудр, яко змий. Ему дано было свыше уразуметь таинства природы, слагать слова из великих букв ее, начертанных перстом всемогущего на небесах, на каждой былинке и камне, во взорах, на челе и руках смертного. И это называете безумием вы, слепотствующие очами душевными, вы, которые боитесь оторвать от праха звено, приковывающее к нему дух ваш? Персты в персти погрязли! Злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, иже воздадут ему плоды во времена своя.

Грудь слепца сильно волновалась; негодование перехватывало слова его; также и Вульф едва удерживал свою досаду. Вольдемар, положив руку на колено старика, ласково прервал его речь:

– Друг! ты забыл о своей повести.

– Скоро конец ее! я это знаю... Да... помню, помню... я сделался болен. Неизвестно мне, долго ли страдал я, чем, куда девался мой благодетель, сын его, что со мною было; известно мне только, что после моей болезни я ослеп. Поверите ли, добрая госпожа, с того времени я весь обновился: казалось, спало с меня проклятие отца и с ним бремя жизни; возвратились ко мне первые дни моей юности и с ними все, что меня обворожало. Слепой, я прозрел. Не одни картины прежнего знакомого мне моря, любимого утеса, северного сияния и неба, прекрасного ночного неба во всем его великолепии, со всею божьею благодатью, обстают меня: часто представляются мне такие дивные видения, за которые цари заплатили бы горами золота. Вскоре

провидение даровало мне новое благо. Вольдемар нашел меня, где – не знаю; он так же, как и чудные видения мои, не покидает слепца. Я свободен, счастлив. Чего мне желать более? Когда же вечный воззовет меня к себе, последняя молитва моя, чтобы в минуты смерти просияло надо мною прежнее, знакомое небо моей юности и рука единственного земного друга захватила на сердце последнюю искру жизни, этот последний завет ему любви моей. Товарищ! где ты? дай мне руку свою.

Так кончил слепец повествование свое, и высохшая рука его крепко сжала руку вождя и друга.

Глава седьмая

Видение

Что прежде сбылося, что будет вперед,
О чем ты замыслил и что тебя ждет,
Все знаю!..

Подолинский

Девушка Рабе слушала Конрада из Торнео с видимым участием; неоднократно, в продолжение рассказа, слезы навертывались на глазах ее. Она выразила свою благодарность с таким добросердечием, к тому ж в звуках ее голоса было для слепца столько могущественного, что он не раскаивался в откровенности своей...

Цейгмейстер думал: «Недаром этого чудака на родине его называли безумным – в жизни его не вижу ничего рассудительного, основательного».

Прекрасная спутница изъявила желание посмотреть на гусли, ею никогда не виданные, и Вольдемар спешил удовлетворить любопытство ее, не только раскрыв их, но и объяснив их устройство. Внимание рассматривавших этот инструмент привлекла также раскрашенная картинка, приклеенная ко внутренней стороне крышки. На ней грубо изображены были несколько густых деревьев, посреди которых сидел в гнезде урод необыкновенной величины: он надувался и выпускал из огромного рта воздух наподобие снопа лучей. Против него гордо выезжал на борзом коне рыцарь, устремив на противника стрелу по натянутому луку. Под картинкою начертано было строк до двадцати на неизвестном для наших наблюдателей языке.

– Ба, ба, ба! – вскричал Вульф. – Если б не борода, я принял бы молодца на дереве за майора трабантского его королевского величества полку, Фейергрока, когда он из-за батареи стаканов и бутылок пускает в подступающих к нему фузеи табачного дыма. Смерть на пуховике, если я лгу! Расскажи-ка, любезный, что изображается на этой картинке и что за тарабарщина написана под нею?

– Картина взята из русской сказки «Илья Муромец», – отвечал Вольдемар. – Храбрый, великодушный рыцарь, защитник родной земли, стариков, детей, женщин – всего, что имеет нужду в опоре храброго, едет сразиться с разбойником, которого называют Соловьем; этот Соловей, сидя в дремучем лесу на девяти дубах, одним посвистом убивает всякого, на кого только устремляет свое потешное орудие. Под картинкою русские стихи.

– Откуда ж шведу могло достаться это малеванье? – спросил цейгмейстер.

– Несколько лет тому назад я сам был в России.

– В Московии, хочешь ты сказать? Ах, это очень любопытно, – подхватила с живостью собеседница.

– Я пошатался и по России, – чего не делает нужда! – прожил несколько лет в резиденции царя, в Москве, научился там играть на гусях и языку русскому у одного школьника из духовного звания, по-нашему – студента теологии, который любил меня, как брата, и, когда я собрался в Швецию, подарил мне на память этот ящик вместе с картиною, как теперь видите. С того времени берегу драгоценный дар московского приятеля. О! чего не напоминает он мне!

– Поэтому Московия не совсем варварская сторона, как ее описывают, вероятно, неприятели ее? – спросила девушка Рабе. – Поэтому и там любят искусства?

– Начинают любить, – отвечал гуслист. – Царь Алексей Михайлович и его сын Федор уж много сделали для просвещения России. Другой сын его... но он враг Швеции: я не смею говорить об нем.

– Почему ж, мне кажется, не хвалить хорошего и в неприятеле? Батюшка рассказывал мне, что Петр – великий государь, достойный поравняться с нашим Карлом. Имел ли ты когда-нибудь счастье, добрый странник, видеть его?

При этом вопросе Вульф насупил густые брови. Вольдемар, приметно смутившись, отвечал:

– Да... я его видал. Наружность героя и царя в полном смысле! Взгляд его... ах! этого взгляда никогда не забуду!

– Странник! – возразил цейгмейстер с обыкновенным жаром и необыкновенным красноречием. – Ты говоришь о геройстве и величии царей по чувству страха к ним, а не благородного удивления. Всякий говорил бы так на твоём месте, встретив в первый раз грозного владыку народа. Простительно тебе так судить в твоём быту. (Вольдемар с усмешкой негодования взглянул на оратора, как бы хотел сказать: «Не уступлю тебе в высоты чувств и суждений!» – и молчал.) – Вульф продолжал свою речь:

– Ты не смотрел в очи северному льву; ты не видел Карла в ту минуту, когда он, по колена в воде, вступал на берега Дании, встреченный тучею пуль неприятельских и с жадностью прислушиваясь к свисту их. «Отныне шум этот будет моею любимой музыкой!» – сказал двадцатилетний герой, и голубые глаза его воспламенились в первый раз огнем мужества, которое с того времени не потухало; лицо его вспыхнуло первым желанием победы и осенилось первою думою о способах побеждать. Я слышал эти слова, я видел этот взгляд, поймал на лице его выражение души великой и, признаюсь, доннерветтер, за эти минуты готов бы целую жизнь мою держать стремя у Карла. С воспоминанием о них умру сладко. Да! пока мысль может ловить эти минуты, русский не возьмет ни одной батареи, на которой я буду! Клянусь в том концом шпаги Карла XII. Вульф не отдастся живым в плен, и мертвеца с этим именем не соберут остатков на поругание его.

Все слушали цейгмейстера с особенным вниманием. За речью его последовала минута молчания, как после жаркой перестрелки настает в утомленных рядах мгновенная тишина. Каждый из собеседников имел особенную причину молчать, или потому, что красноречие высоких чувств, какого бы роду ни были они, налагает дань и на самую неприязнь, или потому, что никто из противников военного оратора не мог откровенно изъяснить свои чувства. Вульфу, после краткого отдыха, предоставлена была честь первого выстрела.

– Виват! – воскликнул он торжественным голосом. – Моя канонада оглушила вас до того, что вы стали в тупик и забыли спросить, о чем проповедует мой Фейергрок с высоты своей лиственной кафедры. Прочитай-ка нам, любезный камрад, русские стихи, написанные под картиною.

– С удовольствием, храбрый и любезный капитан! – отвечал Вольдемар и начал читать стихи:

Наезжал Илья на девяти дубах,
И наехал он Соловья того,
И слышал тут разбойник сей
Того ли топу конинова
И тоя ли поездки богатырския;
Засвистал он по-соловьиному,
А в другой зашипел по-змеиному,
А в третий зарывал по-звериному —
Под Ильею конь окарачился...
Вынимает он калену стрелу
И стреляет Соловья-разбойника...

– Как мне нравится этот язык! – сказала девица Рабе. – Попрошу господина пастора, чтобы он выучил меня ему.

– Может быть, придет время, что вы станете учиться русскому языку; может быть, лифляндцы...

– Лифляндцы? никогда! – прервал с досадою Вульф. – Ты забыл, швед, что страна здешняя находится под владычеством непобедимого Карла. Скорей повесит он свои шпоры к большому колоколу московскому и заставит его говорить на своем языке, чем лифляндцы будут вынуждены когда-либо знать по-русски. Предоставим одной сестрице моей Рабе учиться варварскому наречию у всезнающего нашего Глика, именно для того, что я не люблю русских дикарей, или потому, что она с некоторого времени имеет особенное пристрастие к Алексеичу.

– Шутите сколько угодно, братец Вульф, а я в своем пристрастии тверда, – возразила Катерина Рабе. – Уважаю, боюсь даже Карла, героя, победителя, с его голубыми глазами, блистающими умом военным, которого у него никто не отнимает; но люблю Алексеича, замесовского плотника, солдата в своей потешной роте, путешественника, собирающего отовсюду познания, чтобы обогатить ими свое государство; люблю его, несмотря, что он неприятель моего короля... Может быть, я это говорю потому, что мне это натвердил и крепко внушил мой благодетель. Впрочем, что может суждение бедной, неизвестной сироты на весах, где лежат окровавленные шпаги?

Девица Рабе произнесла эти слова с особенным сердечным волнением: взоры ее блистали необыкновенным огнем, щеки ее горели.

– Вот какими бреднями опутал голову моей сестрицы велемудрый господин пастор! – воскликнул цейгмейстер, пожимая плечами. – Безмолвствую перед ней... но ты, швед? – продолжал он, обратившись к младшему страннику с видом упрека.

– Не принимайте слов моих в худом смысле, господин офицер. Верьте, что никто более меня не желает долгоденственной славы моему отечеству. Я хотел сказать, что два великие народа...

– Два великие народа? Гм! Видно, свои и чужие согласились бесить меня... – возразил цейгмейстер. – Однако ж продолжай, продолжай. Хочу выпить горькую чашу до дна.

– Шведы с русскими могут помириться; тогда произойдут большие перемены в здешнем краю; торговые, дружеские сношения скрепят союз лифляндцев с соседями их; тогда, может быть, эта прекрасная госпожа захочет съездить во Псков, в Москву.

– Что ей там? чего там смотреть: не Соловья ль разбойника?.. Скорей она поедет в Стокгольм.

– Неисповедимы пути господни! – произнес слепец. – Кто знает, какой путь написан ей в книге судеб.

– Ей, Катерине Рабе, написано быть за шведским офицером. Катерине Рабе, приемышу пастора Глика, кажется, не бесчестно идти за королевско-шведского цейгмейстера. Понимаете ли вы, странники? – вскричал Вульф раздраженным голосом, который испугал даже невесту его.

Слепец, казалось, не слышал этих восклицаний; схватив дрожащую руку девушки, он забылся в каком-то внутреннем созерцании; незрящие очи его горели; наконец, возвысив вдохновенный голос, как бы прозирая в небо:

– Вижу, – сказал он, – вижу: из сумрака выступает дева, любимица небес; голова ее поникнута, взоры опущены долу, волосы падают небрежно по открытым плечам; рдянец стыдливости, играя по щекам ее, спорит с румянцем зари утренней, засветившей восток. Встает алмазная гора, дивною рукой иссеченная. Оступилась дева на первой ступени, еще ночью тенью одетой, смиренно преклоняет колена – и вздох, тяжелый вздох, вылетает из груди ее. Вскоре, обновленная жизнью неземной, встает и шествует далее, не поднимая очей своих. Еще четыре

ступени, и готов алтарь... и розовый венец обвивает ее прекрасное чело. Старец совершает над нею дивное таинство. Взоры ее уже не опущены долу, волосы искусно подобраны назад. Изумленная, она озирается кругом: она не верит своему счастью, но уже его ощущает. Еще четыре ступени – и розовый венец сменен алмазною короною...

– Сумасшедший! Ха, ха, ха!

– Смейся!.. я тебе говорю: на деве, которую я видел, лежит корона! Эта рука мне знакомая. Я смотрел ее некогда у десятилетней девочки в Роопе, в пятый день апреля.

– В Роопе?.. Я там жила... – сказала испуганная и вместе изумленная девица Рабе, потирая себе пальцами по лбу, как бы развивая в памяти прошедшее. – Пятое апреля день моего рождения...

Между тем и Вольдемар обратил на нее свои пронизательные взоры; он, казалось, узнавал в ней давнишнюю знакомую.

– Не припомните ли, – спросил он ее, – двух странников, похожих на нас? Один был помоложе меня, другой такой же слепец, как и товарищ мой. Может статься, что вы их видели лет восемь назад?

– Да точно, припомню, как будто сквозь туман, – отвечала девушка, понемногу ободряясь, – странники были похожи на вас; они тогда зашли на двор к господину пастору Дауту, у которого я жила в услужении.

– Смиряяй себя вознесется! – воскликнул слепец.

– Подле меня стояла большая датская собака, которая напугала прохожих.

– Я вздрогнул от ужасного лая собаки; такого еще никогда не слыхивал: мне показалось, что буря заревела, сорвавшись с цепи своей. Невольно прижался я к руке своего молодого товарища.

– Тогда, – примолвил Вольдемар, – прекрасная малютка, – как теперь вижу, – приняв гневный вид и грозя пальчиками своими, повелительным голосом закричала на собаку: «Смотри, Плутон, берегись, Плутон!»

– Точно! у нас была собака этого имени, – сказала девица Рабе, покраснев.

– И лай собаки затих, как замирает буря на голос повелителя стихий!

– Грозное животное, – прибавил младший путник, – легло с покорностью у ног своей маленькой госпожи, махая униженно хвостом. Тогда-то слепой друг мой захотел увидеть поближе дитя; он взял ее за руку и осязал долго эту руку. Тут закричала на нее хозяйка дома, грозясь... даже побить ее за то, что впустила побродяг. Товарищ мой, сам прикрикнув на пастора, сказал то же, что он теперь говорил вам, держа вашу руку.

– Бедные! вас тогда выгнали за меня со двора и не дали вам даже напиться.

Вульф, молча, с коварною усмешкой слушал этот разговор обоих странников с девицею Рабе и вдруг разразился каким-то диким, принужденным смехом, но вскоре, одумавшись, просил у нее прощения, просил даже прощения у Конрада из Торнео. «В самом деле, над кем смеяться мне? на кого мне сердиться? – говорил он про себя. – Одна – женщина, другой – убогий, сумасшедший старик!» Катерина заметила ему только, что громким смехом своим мог он разбудить пастора. В самом деле, приметно было по движению колебавшегося зеленого намета, что Глик просыпался. Гуслист, предупрежденный догадливою собеседницей о соседстве его, посмотрев сначала на Фрица, тихо условился о чем-то с товарищем, подал слепцу скрипицу, поставил свой музыкальный ящик на складной стул, и пальцы его запрыгали по струнам. Звуки возвышенные, трогательные звуки раздалась по роще. Слепец, вторя ему на скрипке, дрожащим тенором с особенным чувством запел под музыку своего товарища псалом: «Господь пастырь мой, я не буду в скудости». Невольно присоединила к ним голос свой девица Рабе, сначала изумленная и обрадованная нечаянным подарком музыкантов. (Надобно заметить, что в мариенбургской кирке приятный и возвышенный голос ее господствовал над многочисленным хором прихожан.) Вульф поникнул головой; сам Фриц забылся на время и, казалось, молился.

Пастор, как бы обвороченный, остался неподвижен в том самом положении, в каком застал его первый стих божественного песнопения. Несколько мгновений после того, как звуки умолкли, он начал протирать себе глаза и не знал, верить ли ушам своим: ему казалось, что все это слышал он во сне.

– Папахен! тебе нездорово так долго спать, – сказал ему знакомый голос и вывел его из этого обворочения.

Воспитанница объяснила ему всю тайну концерта, составленного так неожиданно; рассказала ему о старинном знакомстве своем, ныне подновленном, о занимательной повести слепца, об участии, которое оба странника так сильно возбуждали к себе, хотя один из них казался несколько помешанным в уме; и, предупредив таким образом своего воспитателя в их пользу, она спешила свести их вместе.

Пастор скоро полюбил поэтического старца и таинственного его спутника. Он терялся в различных догадках насчет последнего, тем более что странническому состоянию его изменяла благородная наружность вместе с возвышенностью мыслей и чувств, по временам блиставших из кратких ответов его, как золотая монета в суме нищего. Вольдемар был неразговорчив, и, когда примечал, что с ним хотят сблизиться откровенностью и ласками, что любопытство искало слабой стороны, куда могло бы проникнуть до тайны его жизни, он облекал себя двойною броней угрюмости и лаконизма. Догадливый товарищ его в затруднительных случаях приходил к нему на помощь речениями из Священного писания и поэтическими видениями.

Гусли были снова открыты и рассмотрены. Картина возбудила в пасторе смех; однако ж он находил в ней нравственный смысл, добирался источников ее в северном мифе и доказывал, что Московия имела свой век рыцарства; но чего он не открыл, так это внутреннее убеждение, что странное изображение Ильи Муромца и Соловья-разбойника имело отношение к единоборству двух современных, высших особ. Музыкальный инструмент сравнивал он с арфой или с коклей [кокля – музыкальный инструмент, бывший в употреблении у лифляндцев в древние времена], положенной в ящик; полагал, что можно бы употребить его в церквах вместо органов и что играющий на одном из этих инструментов может скоро выучиться и на другом. Тотчас блеснула в сердце его счастливая мысль: «Органист мариенбургский стар и давно просится на покой – вот удобный случай заместить его молодым музыкантом! Сверх того Вольдемар будет ему хорошим помощником для усовершенствования его в русском языке. Слепца можно пристроить в богадельню». Все это скоро придумано, и предложение сделано. Конрад ничего не отвечал; он предоставлял товарищу говорить за себя и за него самого. Вольдемар и не ожидал его ответа: от имени обоих благодарил он пастора, обещал воспользоваться великодушными его предложениями только для того, чтобы посетить его и побывать в Мариенбурге на короткий срок; присовокупил, что странническая жизнь, может быть унизительная в глазах света, не менее того сделалась их потребностью, что оседлость, вероятно, покажется им ограничением их свободы, всегда для человека тягостным, и что поэтический, причудливый характер друга его, которому было тесно и душно в доме родительском, не потерпит на себе и легких цепей единообразной жизни богадельни. Эти причины, и особенно привязанность его к старцу, не позволяли ему ни за какие блага расстаться с ним и оставить его снова одного в пустыне мира. Вольдемар повторил еще, что непременно скоро постараются они быть в Мариенбурге и посетить дом благословения божия: так называл он жилище Глика. Молчал слепец; но приметно было, что улыбка душевного удовольствия перебегала по устам его. Он другого ответа и не ожидал от своего товарища. Глику никогда не нравилась странническая жизнь, под каким бы видом она ни была; несмотря на это и на отказ новых знакомцев, не охладела в нем надежда пристроить их со временем около себя, продлив их пребывание в Мариенбурге всем, что могло принести им утешение и спокойствие, заставить их полюбить семейную жизнь и таким образом сделать ручными этих гордых зверей северных лесов.

Полдник давно ожидал путешественников; он состоял из домашнего сыра, лоснящейся от копоти рыбы и пирога с курицей и яйцами, румяного, хорошо начиненного. Пастор прочитал вслух приличную случаю молитву; каждый про себя повторил ее в глубоком благоговении. После того расположились все в кружок около походной трапезы. Девушка Рабе села возле слепца, которому взялась сама прислуживать. Отведавши бледного сыра, принялись за пирог, более приманчивый; сделать в нем брешь предоставлено было артиллеристу, вооруженному столь же храбрым аппетитом, как и духом; другие, уже по следам его, побрели смелее в пролом и dokonчили разрушение пирога. Так в малом и большом ведется на свете!

Когда дело дошло до копченых язей, пастор принялся рассказывать, что рыба эта ловится только в Эмбахе, близ Дерпта.

– Некогда, – сказал он, – смиренные братья аббатства Фалкенаусского, основанного близ берегов Эмбаха первым епископом дерптским, Германом, накормили язами итальянского прелата, присланного от папы для исследования нужд монастырских, напоили *monsignore* [его преосвященство – ит.] пивом, в котором вместо хмеля был положен багульник [очень горькое и вредное растение: *ledum palustre*]. Вдобавок они свели его в жарко натопленную комнату, в которой – о ужас! – подавали беспрестанно водою на горячие камни, секли себя немилосердно пучками лоз и, наконец, окачивались холодною, из прорубей, водою. Вследствие несварения желудка своего от язей и пива с багульником прелат заключил, что монастырь крайне беден, а вследствие банных эволюций, напугавших его, приписал в донесении своем святейшему отцу следующее восклицание: «Великий боже! уж сие-то монастырское правило слишком жестоко и неслыханно между людьми!» Из этой исторической драгоценности наш пастор выводил свое заключение, что лифляндские природные жители переняли обыкновение париться в банях от русских, во времена владычества великих князей над Ливониею. От слова «владычество» быть бы опять раздору между археологом и Вульфом, когда б на этот раз не случилось необыкновенного происшествия, опрокинувшего все вверх дном в уме наших путешественников.

Не в дальнем от них расстоянии, к стороне, где стояли карета и лошади, послышался выстрел.

– Что бы это значило? – говорили, смотря друг на друга, встревоженные собеседники, кроме Вульфа, которого первое дело было взяться за карабин, а второе – бежать в ту сторону, откуда раздался выстрел. За ним последовал Вольдемар, также осмелился вздуть полегоньку свои паруса Фриц, доселе внимательный слушатель всего, что говорено было, и усерднейший прислужник хозяевам и гостям. Пастор со своею воспитанницей остался на твердой земле. Ему вспало на ум, что небольшой отряд русских фуражиров перебрался в Долину мертвецов и напал на баронессиних лошадей. Он спешил сам вторгнуться в арсенал своей памяти и начал опрометью рыться в нем, чтобы найти приличное оружие, если не для отражения неприятеля, по крайней мере, для убеждения и смягчения его сердца; то есть он собирал разбросанные в памяти своей русские сильнейшие выражения, какие только знал. Из них составил бы он речь *ex abrupto* [без подготовки, импровизированную – лат.], которая могла бы в несчастном случае так сильно подействовать над ожесточенными неприятелями, что они должны бы признать себя побежденными. И преклонить грозные оружия к ногам оратора, как трофеи его красноречия.

Выстрелы не повторялись; все было тихо. Конечно, Марс не вынимал еще грозного меча из ножен? не скрылся ли он в засаде, чтобы лучше напасть на важную добычу свою? не хочет ли, вместо железа или огня, употребить силки татарские? Впрочем, пора бы уж чему-нибудь оказаться! – и оказалось. Послышались голоса, но это были голоса приятельские, именно цейгмейстеров и Фрицев. Первый сердился, кричал и даже грозился выколлотить душу из тела бедного возникшего; второй оправдывался, просил помилования и звал на помощь.

– Несчастный погибает! Чего доброго ожидать от этого бешеного пушкаря? – сказал Глик; для вернейшей диверсии позвал свою воспитанницу с собою и, оставив слепца одного на месте отдыха, поспешил с нею в долину, чтобы в случае нужды не допустить завязавшегося, по-

видимому, дела до настоящего побоища. Спустившись с холма, увидели они следующее: цейгмейстер, с глазами, налитыми кровью, с посинелыми губами, кипя гневом, вцепился в камзол кучера, который, стоя перед ним на коленях, трясся, как в лихорадке. Между тем Арлекин и Зефирка, вытянувшись, мчались по лугу из стороны в другую; уши их прилегли назад, грива их поднялась, как взмахнутое крыло. Тощего Вульфова коня не было видно.

– Куда девалась моя лошадь? – вопил в бешенстве цейгмейстер, немилосердно тормоша своего пленника. – Почему не смотрел ты за нею? Говори, или ты отжил свой век – ложись живой в землю!

– По... поми... лосердуйте, господин барон фон... господин полковник... господин цейгмейстер!.. – произносил жалобно Фриц. – Уф! я задыхаюсь... отнимите немного вашу ручку... я ничем не виноват, вы видели сами: я прислуживал вам же. Отпустите душу на покаяние.

– Стыдно, Вульф! где у вас Минерва? – сказал пастор, с неудовольствием качая головою. – Чем терзать бедного служителя баронессы Зегевольд, который не обязан сторожить вашего Буцефала, не лучше ли поискать его? Пожалуй, вы и меня возьмете скоро в свою команду и заставите караулить целую шведскую кавалерию! Я требую, чтобы вы сию минуту отпустили Фрица, или мы навеки расстанемся.

– Сюда, сюда! – закричал Вольдемар, стоя на высоте креста и махая рукой, которою вместе указывал, чтобы перебрались через речку и подошли к боку горы, как будто обрезанной заступом. Этот зов остановил роковое слово, которое готово было вылететь из уст взбешенного цейгмейстера и, может быть, навсегда бы разрушило дружеские связи его с пастором и его воспитанницей. Шведский медведь выпустил из лап бедную жертву свою и гигантскими стопами поспешил туда, куда указывал музыкант. Здесь увидел он свою лошадь, но в каком жалком положении! Едва поддерживали ее на краю утеса несколько кустов различных деревьев, в которых она запуталась и при малейшем движении своем качалась на воздухе, как в люльке; под нею, на площадке, оставшейся между речкою и утесом, лежало несколько отломков глинистой земли, упавших с высоты, с которой, по-видимому, и бедное животное катилось, столкнутое какою-нибудь нечистою силой. Конь дрожал и по временам взвизгивал. Пробравшись к нему, с опасностью упасть самому, Вульф, при ловкой и бесстрашной помощи сошедшего к нему же Вольдемара, выпутал лошадь из когтей сатанинских.

– Один лукавый мог ее так угораздить, – говорил последний.

Когда седло с прибором и вьюком, перевернутые и спутанные на ней, были сняты, увидели они, что чушка была прожжена и курок у одного пистолета спущен – свидетельство, что слышанный выстрел произошел из этого оружия, вероятно, разряженного сильным трением лошади о что-нибудь твердое, и был причиною испуга ее, занесшего ее так далеко и в такие сети. Первым делом цейгмейстера было расстегнуть вьюк и осмотреть куверт: печать была сломлена; крошки ее тут же находились; но самый куверт был невредим – и последнее успокоило его. Пакет был уже положен в камзол с величайшею осмотрительностью. На лошади следами этого происшествия остались только небольшие царапины, а в ней самой страх к высоте креста, ибо не было возможности заставить ее пройти в долину этим путем; и потому принуждены были провести ее сосновым лесом, по отлогости горы. Дорогой Вульф и музыкант сделались откровеннее друг к другу до того, что последний, объяснив ему причины его сурового молчания при людях посторонних и, может быть, ненадежных, показал ему какую-то бумагу за подписанием генерала Шлиппенбаха. В ней, между прочим, заключалась важная тайна, касающаяся до лица самого Вольдемара. Вульф был в восторге, обнимал шведа, честию своею клялся хранить эту тайну на дне сердечного колодезя и действовать с ним единомышленно. Возвратясь в долину, новые приятели остались в прежнем холодном отношении друг к другу.

– Беда еще не велика! – сказал Вульф, подавая руку пастору в знак примирения. – Но ваш гнев почитаю истинным для себя несчастьем, тем большим, что я его заслуживаю. Мне представилась только важность бумаги, положенной мною во вьюк, – примолвил он вполго-

лоса, отведа Глика в сторону. – Если б вы знали, какие последствия может навлечь за собою открытие тайны, в ней похороненной! Честь моя, обеспечение Мариенбурга, слава шведского имени заключаются в ней. После этого судите, мой добрый господин пастор...

– То-то и есть, Вульф, – отвечал пастор, склонившись уже на мир, ему предлагаемый с такую честью для него, – почему еще в Мариенбурге не положить пакета в боковой карман мундира вашего? Своя голова болит, чужую не лечат. Признайтесь, что вы нынешний день заклились вести войну с Минервой.

– Не упрекайте меня так много. Я вам скажу причину, – шепнул ему на ухо цейгмейстер, несколько покраснев. – Вот видите... худо быть без хозяйки!.. в боковом кармане затаились, вероятно, какие-нибудь крошки... давнишних солдатских сухарей, и проклятые мыши прогрызли его... Я хватился ныне, хотел зашить хоть сам, но стыдился Фрица, который, как вы знаете, ночевал у меня по тесноте вашего дома и который, на беду, беспрестанно около меня вертелся с услугами своими. Вы спешили, и потому, не ожидая таких последствий, вынужден я был положить куверт во вьюк. Впрочем, скажу опять, беда не велика! бумага писана моей рукой и только подписана комендантом; генерал меня хорошо знает, и подозрений никаких быть не может.

– Все хорошо; да посоветоваться бы с Минервой не худо! Вот я, например, на такие дела крайне осторожен. Со мной теперь тетрадка... о! она стоит вашего куверта: в ней заключается благо целой Лифляндии; именно это адрес королю... Берегу его как зеницу ока. Вы не можете поверить, сколько я должен был рыться в старых фолиантах; сколько законов вызвал я из мрака древности и заставил пройти мимо себя один за одним, как вы солдат своих на специальном смотру! Здесь ничего не пропущено; каждая петелька и крючочек на своем месте. Здесь изложены привилегии архиепископа Фомы, короля Сигизмунда-Августа, Радзивилла, резолюция королевы Христины и прочие и прочие постановления об утверждении прав лифляндского рыцарства и земства: все так выведено, сведено и приложено, что если его величество, король шведский и иных, Карл XII, прочитав этот адрес, не соизволит снизойти на усерднейшие моления верноподданных своих и сего адреса, то...

Произнеся слово «сего», пастор засунул правую руку в левый боковой карман своего кафтана и, не найдя в нем бумаги, которую туда положил, вдруг остановился среди речи своей и среди дороги, как будто язык его прильнул к небу, а ноги приросли к земле.

– Что с вами сделалось, господин пастор? вы побледнели, вам дурно?

– Так! ничего, совершенно ничего!.. Маленький удар в голову!.. Вот уже и прошел.

Глик, в самом деле, старался прийти в себя и, боясь быть пристыженным цейгмейстером в том самом проступке, в котором его ж сам обвинял, скрыл причину своего замешательства. «Вероятно, – думал он, – когда я дремал дорогой, адрес выпал из бокового кармана. Тот, кто его найдет, ничего с ним не сделает без согласия лифляндского дворянства. Тетрадь вложена исправно в пакет, на котором ясно означено, кто посессор этой бумаги. Но если нашедший воспользуется моими трудами? сыщется случай?.. Я его предупреждаю непременно, во что бы то ни стало! К счастью, у меня остался другой экземпляр».

Этот разговор был прерван докладом кучера, что все готово к отъезду с проклятого перепутья.

– Правда, Фриц, несчастного перепутья! – отвечал со вздохом пастор, увидев, что цейгмейстер от него ускользнул.

– Разве и с вами что-нибудь случилось, как с моим крестным отцом? – сказал Фриц с видом изумления.

– Нет, Фриц, ничего; так, совершенно ничего! Не поднимал ли ты, однако ж, бумаги? так, пустячной, ничего не стоящей бумажонки?

– Не подымал и не видал, господин пастор! Вы знаете, я читать не умею.

– Ни слова никому об этом, Фриц! Бросим в сторону этот вздор, и с богом в путь! Аминь!

– Знаешь ли, папахен? – прервала его заботливую речь девица Рабе, потихоньку подступив к нему. – Я хочу пригласить музыкантов ко дню рождения моей доброй Луизы и обрадовать ее нечаянным концертом. Лучшим подарить мне ее нечем. О! как изумит ее моя музыка! ты увидишь, как я все устрою.

Глик легко согласился сделать удовольствие своей воспитаннице, предоставив ей самой труд убедить музыкантов к путешествию в Гельмет. Легко склонились слепец и молодой товарищ его на просьбу доброй девушки, тем скорее, что они давно желали, как говорили они, побывать в поместье баронессы Зегевольд и что им приятно будет показать свое искусство на большом пиру разыгранием какой-нибудь важной штуки.

Солнце удалялось от полудня; лучи его уже косвеннее падали на землю; тень дерев росла приметно, и жар ослабевал. Все расстались друзьями. Карета, запряженная рыжими лошадками, тронулась; и опять, по правую сторону ее, на высоком, тощем коне медленно двигался высокий офицер, будто вылитый вместе с ним.

– Добрая, прекрасная девица! – сказал Вольдемар, проводив глазами экипаж и конного спутника. – Не знаю, с кем ее сравнить. София, правда, была некогда прекраснее ее.

– Неужели София была так хороша, как ты об ней рассказываешь? – спросил слепец.

С этими словами музыканты поплелись по тропе, извивающейся в роще, из которой они пришли.

Глава осьмая Замок Гельмет

Чванкина:

Так знают во дворце об нас?

Полист:

Не только знают. Но и по комнате о вас лишь рассуждают.

Комедия «Хвастун», Княжнин

На замки Лифляндии смотришь еще, как на представителей феодального ее быта, дикого и романического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, спросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, – и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно былом; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые, при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремющую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов.

Чего не расскажет один замок Гельмет? Видишь только развалины; но как они доселе красноречивы! Забываешь даже, что небо служит им покровом, а украшениями – растущие по ним пихта, рябина и береза. Кажется, и ныне отдаются по залам тяжелые стопы грозного основателя его, Юргена фон Айхштедта; [1265 года] сквозь железную решетку косящего окна мелькает белоатласная ручка и передает девиз победы или смерти молодому рыцарю, стоящему в овраге под смиренной одеждой пилигрима. Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орденмейстера Иогана фон Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношениях с русскими; [1472 года] видишь под стенами замка храброго воеводу, князя Александра Оболенского, решающегося лучше умереть, чем отступить от них [1502 года], и в окружающих холмах доискиваешься его праха; видишь, как герцог Иоган финляндский, среди многочисленных своих вассалов, отсчитав полякам лежащие на столе сто двадцать пять тысяч талеров, запирает в серебряном бокале приобретение Гельмета и других окружающих поместий [1562 года]. Передо мною проходят, как фантазмагорические явления, рыцари, епископы, русские, поляки, шведы, то осаждающие замок, то обладатели его, то геройские мученики своих победителей. Сколько приключений, ужасных, чудных, романических, разбросано на обломках Гельмета, на этих лоскутах давно прерванной летописи!

Местоположение Гельмета [Гельмет находится от Дерпта к юго-западу в шестидесяти пяти верстах; поворот на него с Рижской дороги от Рингена или, проехав от станции Куйкац, несколько верст вправо. Последняя дорога тем приятнее, что на перепутье находится Пекгоф, где среди мрачного леса сооружен великолепный памятник фельдмаршалу Барклаю де Толли] – одно из приятнейших в Лифляндии: им одушевлялись кисть, резец, перо и лира; сотни путешественников, оставив на песчаниковых (de gres) сводах его гротов имена свои, хотели высказать, что и они были в Аркадии. Действительно сделала его маленьким эдемом бывшая обладательница Гельмета, госпожа Герсдорф, умевшая, со вкусом и любовью к изящному, сочетать искусство и природу. Ныне это поместье на аренде, довольно этого слова, чтобы выразить его невыгодное во всем изменение. Несмотря на то, и ныне любишь по несколько раз красотою этих мест; прощаясь с ними, хотел бы еще раз на них взглянуть.

Не ищите здесь видов обширных, в которых бы взоры и сердце рассеивались: прекрасное все здесь вместе; кажется, для Гельмета страна кругом обижена природою. Разве иногда мельком, сквозь уголок, сбереженный догадливым искусством, представляется вам возвышенная

даль. Лучший вид, без сомнения, от господского дома, с краю оврага, изрытого кругом замка. Живописные развалины последнего стоят на бугристом, высоком холму. Правая сторона замка более других уцелела: длинную стену, неровно зазубренную временем, поддерживают две четверугольные башни, еще бодро выступающие вперед на грудистых насыпях. Остаток свода от одной из этих башен, так сказать, на волоску держится. С другой стороны время было наиболее неумолимо, как бы нарочно для того, чтобы поразнообразить красоты развалин: здесь везде следы, оставленные борьбой времени с делом рук человеческих. В одном месте лежит обломок, будто брошенный на бегу огромный щит; в другом – возвышается неровною пирамидой; далее целая стена, понемногу клонясь, оперлась на другую, более твердую, как дряхлая старость облокачивается на родственного мужа; инде обломок, упав с высоты, покатился по холму и вдруг, отряхнувшись, твердо выпрямился в середине его и утвердился на ней. Кругом оврага обстают холмы, выступают мысы и разливаются в разных направлениях хребты небольших гор. Влево, на двух холмах, на которых зелень так ровна, как будто они облиты ею, стоят, в близком друг от друга расстоянии, красивые березовые рощицы, образующие между собою раму для одного из прелестнейших видов. На площади обширного поля представляются деревенька, развалины старой гильметской кирки, немного вправо – новая кирка и в небольшом отдалении – дикие и неровные берега речки, с могилами русских, павших в войну за обладание Лифляндией. Ближе речка эта разлилась озером, потом, сдержанная скатертью феллинской дороги и плотиною, суживается в ручей, пробирается под мостиком; с непрерывным ропотом на свою неволю падает, будто из урны, серебряною струей, рассыпается о камни, наконец, заиграв на свободе, в извилинах теряется между дикими кустарниками и спешит соединиться в саду с ручьем Тарвастом. Вправо, между холмами, вид более стеснен и более протянут: разнотенные возвышения одно за другим полосатся, будто неровные бразды вспаханной нивы. Обойдите развалины замка: какие очаровательные места и виды представятся вам! С восточной стороны взгляните с высоты вниз, и перед вами – глубокий, мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти безлиственные. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденпе. Обойдите сад, и на каждом шагу готов прелестный ландшафт, достойный кисти Клода Лоррена, и убежище, в котором Руссо хотел бы жить и умереть. Пригорки, холмы, долины открыты и затаены под сенью рощ. Ручей Тарваст то сердито прорывается пенистыми нитями между огромными камнями, то падает стекловидным порогом, то скачет с шумом по мелким камешкам. Мостики образованы из повалившихся через ручей деревьев или искусством накинута. Цветники, разбросанные купы дерев, гроты, утесы, подземный ход; за садом – озеро с прекрасным островком и приманчивою для диких птиц осокою, заставляющею даже их забывать, что их обманывает искусство; мельница со своим шумным водопадом; поля, испещренные рощицами, жнивами и деревеньками, – все это, повторяю, делает из Гельмета настоящий рай земной.

Господский дом стоял в начале XVIII столетия на том самом месте, где он стоит ныне, именно против развалин замка, разделенный с ними обширным двором и обращенный главным фасом в поле, и вообще построен был без большого уважения к архитектуре, по вечно однообразному плану немецких сельских и городских домов. Перемена, которую в нем сделали успехи зодчества в Лифляндии или своеобразие его обладателей, только та, что готические окошки превращены в обыкновенные четверугольные и богатая терраса – в лестницу. Должны мы также присовокупить, что там, где стоит ныне на феллинской дороге простой мостик, был подъемный.

В то время, когда происходило действие нашего романа, замок Гельмет (так будем называть вообще мызу и поместье под этим именем) принадлежал баронессе Амалии Зегевольд по правам аллодиальным [родонаследственным], утвержденным редуccionною комиссией, с грехом пополам, в уважение к ее родственным связям с председателем комиссии, деспотическим графом Гастфером.

Баронесса Зегевольд – от колыбели ненаглядное дитя фортуны – была избалована слепою любовью отца и матери. Единственная наследница богатого имения, которого, по смерти их, сделалась и полною обладательницей на двадцатом году веселой прогулки по пути жизни, она испытала во все продолжение ее только одно горе, не несчастье – потерю мужа кроткого, терпеливого, смотревшего в глаза своей повелительнице и любившего ее, как идолопоклонник любит свой кумир. Баронесса, всегда окруженная роем посторонних и домашних почитателей ее ума, красоты и богатства, допустила самолюбие, тщеславие и любовь к господству возобладать над ней. В душе ее засели эти страсти, так что все, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, кряхтело под бременем их. Во цвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь. Если последняя находила иногда путь к ее сердцу, то это было под личиною лести; узнав обман, Амалия так сердито выпроваживала от себя амура, что он в другой раз не смел к ней показаться. Теперь же, когда ей стукнуло за сорок лет, его самого обольщениями нельзя было приманить к ее ногам. Властолюбие сделалось единственною потребностью ее души. Но действовать волею своею на тесный круг семейства, приближенных и крестьян своих казалось ей недостаточно; дышать в воздухе этой ограниченной сферы было для нее тяжело. Ей помечталось, что она имеет столько глубокомыслия и проницательности, столько знания людей и обстоятельств, такое сильное влияние на соотечественников, что может управлять ходом политических дел Лифляндии. «Кто не умеет поставить себя выше своего звания и состояния, тот недостоин пользоваться ни тем, ни другим», – повторяла она за королевою Христиной, которую во многом взяла себе в образец, как увидим после. Следуя этому правилу, решила она показать чудесное явление, именно – женщину-дипломатку, и занять, во что бы то ни стало, порядочную страницу в истории XVIII столетия. Хитрому Паткулю взялась она противопоставить себя, перехитрить его и, как он действовал в пользу России, так же действовать для блага Швеции. С этого времени дом баронессы сделался очагом политических мнений Лифляндии и телеграфом всех новостей, имевших влияние на страну.

Добровольно возложив на себя обязанности дипломата, Амалия Зегевольд старалась привести в движение все тонкости, с этим званием сопряженные. Не только в отечестве своем имела она лазутчиков, но хвалилась, что имеет их даже при дворах Августа и Петра. Были люди, которые верили ей на слово, что в переписке ее с госпожою Монс, соотечественницею ее и временною любимицею Петра I, заключались известия обо всех движениях русской политики. Между тем знавшие хорошо русского государя знали так же верно, что хотя он всякой прекрасной женщине старался быть приятным, но еще ни одна из них не могла прибрать ключа к его кабинету. Не совсем доверяли также, чтобы тайная корреспонденция баронессы с графиней Кенигсмарк, известной своею красотой и властью над королем польским Августом, могла быть полезною для Лифляндии. Кажется, все эти члены женского кабинета платили друг другу фальшивую монетою. Но одною из надежнейших и сильнейших пружин, которые баронесса заставляла играть для достижения своей цели, были раскольники, убежавшие из России будто бы от гонений правительства и нашедшие себе новое отечество около Чудского озера, большею частью на землях фамилии Зегевольд или, по содействию ее, во владении ее близких знакомых. Она бросила успешно виды свои на Андрея Денисова, одного из коварнейших людей того времени в России, главу и учителя поморских раскольников. В Лифляндии находился ересиархэтот уже несколько месяцев. Пришедши из Выгорецкого скита [монастырь старообрядческий] для соглашения споров, возникших в разных зарубежных соглашениях [общества раскольничьи], и для обращения на путь истинный суетных [не исполняющие в точности правил староверческих] или отпадших членов своих, он умел вызвать господствующие в баронессе страсти и, несмотря на различие вер и народности, заключить с нею против русского государя оборонительный и наступательный союз. Вести, получаемые от Андрея Денисова о внутренних делах России и даже тамошнего двора, могли быть верны, во-первых, потому, что хитрые миссионеры-старообрядцы, шатаясь беспрестанно из края в край, из одного скита в другой,

не упускали на местах разведывать обо всем, что им нужно было знать, и, во-вторых, потому, что ересиарх их, давно известный честолюбивой царевне Софии Алексеевне, вел с нею тайную переписку [смотри «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках», изданное протоиереем Андреем Иоанновым, 1799, стр. 115]. Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифляндскою баронессой служил жидовин, находившийся в числе его учеников. По тщеславию патриотки, так прозвали ее наконец, можно судить, сколько она старалась различными услугами поддержать эту связь.

Дружеские ее сношения с генерал-вахтмейстером Шлиппенбахом, основанные на разных пожертвованиях в пользу шведского войска, были также скреплены политикой. В минуты сердечного излияния (надобно знать, что и дипломаты проговариваются) открыл и он баронессе, что имеет в Лифляндии поверенного умного, тонкого, всезнающего, который, под видом доброжелательства Паткулю, ведет с ним переписку, дает ему ложные известия о состоянии шведского войска и между тем уведомляет своего настоящего доверителя о действиях русских.

– Вот как, – прибавлял Шлиппенбах, – проводим мы хитреца, играющего роль министра российского! Прихлопнем, уж прихлопнем мы его в ловушку!

Доверенную свою особу называл генерал-вахтмейстер шведом, знающим совершенно языки: природный (само собой разумеется), немецкий, латышский и русский. Швед был всячески укрыт от поисков баронессы, которая могла бы им овладеть в свою пользу. Она успела однако ж выведать, что этот таинственный человек был музыкант, играющий на каком-то русском инструменте, и странствует со слепцом. Нам легко узнать в этих лицах Вольдемара из Выборга и Конрада из Торнео. Таким образом расставлялись сети политике русской: бедная Россия!

Какая была награда женщине-дипломату за все труды и жертвования ее? Слава в будущем, страничка в истории, а покуда – благодарность министра Карла XII. Пипер очищал уведомления ее в горниле опытности и благоразумия и умел извлекать грани чистого золота из пудов нечистой примеси. Не менее того оставался он признателен богатой и знатной лифляндке, жертвующей своим достоянием и трудами пользе Швеции и направлявшей умы своих соотечественников к преданности шведскому престолу. С этой стороны подвиги патриотки не были тщетными, и потому люди, судящие по наружности, почитали ее довольно сильною у двора шведского – двора, не существующего без политики, или, лучше сказать, находившегося там, где раскидывалась ставка Карла XII, и действовавшего по направлению его шпаги. Вероятно, и сам король не имел понятия о баронессе Зегевольд, ибо он никогда ни об одной женщине не хотел слышать.

Любопытство, праздность, лукавство, желание сделать угодное баронессе, искательство, связи дружбы и родства собирали в Гельмет многочисленное, иногда блестящее общество, которое она почитала за двор свой. К удовольствию посетителей, несмотря на различие партий, она принимала всех с равным гостеприимством, хотя с некоторым условленным этикетом, и допускала в свой круг свободу мнений, лишь бы эта любовь не посягала на тщеславные, личные права самой владельницы замка. Особенно старалась она завлечь в Гельмет путешественников, художников, ученых, чтобы уронить в сердца их семена благорасположения к себе и выманить от них занимательные новости о тех странах, которые они проезжали. Нередко слышала она терпеливо из уст их некоторые горькие истины насчет неблагоразумия, с каким продолжалась настоящая война, и заносчивости молодого венценосного победителя – слушала и продолжала делать свое.

Мы сказали, что она во многом взяла себе в образец Христину. В самом деле, многие характерические приемы королевы шведской перешли в наследство к баронессе. И та и другая не любили женского общества; обе занимались литературою, покровительствовали ученым, ласкали предпочтительно иностранцев, были щедры без рассудительности и, между нами сказать, не думали о благе своих подданных; обе не только в своих поступках, но и в одежде выве-

шивали странности характера своего и, назло природе, старались показывать себя более мужчинами, нежели женщинами.

Как пристали к баронессе темный галстучек, амазонское платье *a la reine de Suede* [как у королевы Швеции – фр.], отважная верховая езда по следам гончих, ученые словопрения с профессорами и даже чернильные пятна на пальчиках ее и манжетах! Настоящая Христина! – так говорили ее поклонники; а последних было у ней довольно, потому что желание властвовать и обязывать заставляли ее быть великодушною, очень часто к собственному вреду.

Просьба ученого, особенно иностранца, намеки знатного родственника, человека значительного, о нуждах своих, искушение казаться тем, чем она в самом деле не была, прославиться высокими свойствами души, которых она не имела, развязывали ее кошелек, закрывая ей глаза насчет домашних обстоятельств. У себя со своими она была деспот настоящий: Я покрывало и собственные ее пользы и благо вверенных ей провидением крестьян. О состоянии последних патриотка не хотела знать.

– Они должны в точности выполнять положенное на них, – говорила властолюбивая помещица. – Я даю им раза два-три в год праздники, шью невестам нарядные платья, женихам – цветные кафтаны; страх как бы хотела преобразить моих латышей и чухон в швейцарцев, но упрямыцы останутся вечно латышами и чухонцами. Не мне чета, Стефан Баторий хотел улучшить их состояние, но принужден же был согласиться оставить их, как они есть, чтоб не было им хуже!.. Что ж более и мне для них делать? Все прочее поручаю моим управителям, которым плачу хорошие деньги именно за то, чтобы избавляли меня от скучных обязанностей экономки и сношений с этим необразованным, грубым народом.

Взвесив эти рассуждения, можно судить, каково было состояние крестьян баронессиных. Доходы не умножались, хозяйство не спорилось; и хотя амтман Шнурбаух уверял, что финансы ее приходят день ото дня в лучшее состояние, что все подвластное ей благословляет и прославляет ее, но худо покрытые избы, хлеб пополам с мякиною и бедная, нечистая одежда поселян ее вернее сказывали истину. Надо заметить, что лифляндские помещики тогдашнего времени не одушевлялись еще тем благородным, высоким ко благу человечества стремлением, какое видели мы, к чести их, в современную нам эпоху.

Глава девятая

Домочадцы

Всех, всех давайте нам на сцену.

Аноним

Баронесса имела единственную дочь. Луиза душевными качествами нимало не походила на мать свою. Казалось, природа хотела недостатки первой вознаградить достоинствами другой. Несмотря на странности данного Луизе воспитания, которым желали удивить современников (в наш век нет уже ничего удивительного), ибо с преподаванием языков шведского, французского и даже латинского учили ее не только стряпать, но и жать рожь; несмотря на то, что с малолетства ее заставляли твердить ролю богатой наследницы, она оттолкнула от себя все обольщения самолюбия. Кротостью и смирением ангельским, всегдашнюю готовность помогать несчастным, приветливым обхождением с низшими она часто заставляла подвластных баронессе забывать всю тяжесть ее господства. Как гостеприимная пальма в степи, она заслонила собою жгущие лучи гордого светила. Любовью ко всему доброму и высокому напитана была душа ее. Характер ее был создан, чтобы составлять счастье других; но в нем же заметна была степень чувствительности, опасная для нее самой. Доселе трогали ее одни бедствия ближних, которым она и поспешала на помощь без всяких вычислений ума. Надо было ожидать, что Луиза, с сердцем, приготовленным для нежных впечатлений, узнав другую любовь, кроме сострадания к ближним, предастся этому чувству, как простодушное дитя, и увлечется им с тем постоянством и силою страсти, которые отличают ее пол и выбирают из него своих несчастных жертв чаще, нежели из другой половины рода человеческого.

Мать Луизы, быв счастлива супружеством по расчету своих родителей, одолженная также спокойствием и удовольствиями жизни богатому состоянию, хотела доставить и дочери те же блага. По одинакому ж расчету Луизе, с девятилетнего возраста, назначен в супруги барон Адольф фон Траутфеттер, мальчик, старше ее тремя годами. Дядя по матери его, барон Балдуин Фюренгоф, один из богатейших лифляндских помещиков, был человек удивительный: он умел выбивать из копейки рубль комическою скупостью, необыкновенными ростовыми оборотами и вечными процессами, и успел еще при владении небольшим имением, доставшимся ему от матери, составить себе значительный капитал. Сверх того, чтобы переполнить его казнохранилище, случилось, к изумлению всей Лифляндии, что отец, отрешивший было его от наследства за беспутство и жадность к деньгам, вдруг неожиданно перед смертью уничтожил свое прежнее завещание, сделанное в пользу двух дочерей, и оставил Балдуину, по новому уже завещанию, родовое и благоприобретенное имение, за некоторым малым исключением в пользу сестер его. Балдуин Фюренгоф одолжен был баронессе утверждением за ним редукционной комиссией имения. С ним-то и тщеславная дипломатка, и пастор Глик, всегда подававший свой голос там, где шло дело об устройении чьей-либо будущности, составили некогда совет. В нем положили, для общего благосостояния, соединить законными узами Луизу и Адольфа, как скоро первой наступит семнадцать лет, а второму двадцать. Чтобы ни одна сторона не могла нарушить это положение, оно утверждено было законным актом: только смерть невесты или жениха освобождала ту или другую сторону от обязательства. С выполнением его Адольф должен был вступить во владение половиной части дядина имения, а по смерти Фюренгофа пользоваться всем, чем этот владел правдой и неправдой. Надо объяснить, что из фамилии Траутфеттеров оставались в Лифляндии только Адольф и двоюродный брат его Густав, двумя годами его старший. Матери их были родные сестры и, как они, так и отцы их, умерли еще до 1690 года. Ближайшими родственниками их оставались Фюренгоф и Рейнгольд Паткуль. Последний, до приговора его к казни, имел об оставшихся сиротах истинно отеческое попечение. Бежав из

Швеции и лишась всего имения, взятого в казну, он поручил их покровительству Фюренгофа, бывшего вместе с ним и опекуном того незначительного участка, который достался сиротам после смерти их родителей. Доходами с этого участка, ошипанного усердием скупого дяди, Адольф и Густав начали пользоваться, как скоро приняты были в военную службу.

Адольф, до вступления своего в университет, нередко гостил по несколько месяцев в замке баронессы Зегевольд, желавшей укрепить привычкою будущий союз его с Луизой. Дети любили друг друга, как дети, долго жившие под одной кровлей и сближенные привлекательною наружностью, играми, известностью их будущности, для них непонятной, но представляемой им в приятном виде родства. Милая Луиза! милый Адольф! – были имена, которые они давали друг другу и вырезали даже в одном из гильметских гротов. Не зная, что такое любовь, они уже ощущали ее в каком-то удовольствии быть чаще вместе. Случалось даже, что маленький жених ревновал к двоюродному брату Густаву, приезжавшему иногда, хотя гораздо реже его, гостить в Гельмете. Адольф и Луиза были везде вместе: в танцах, в играх, в прогулках трудно было разлучить эту пару голубков. Была ли больна одна, нездоровилось другому; видя одного грустным, можно было догадаться, что и другой в таком же состоянии. Маменька не могла налюбоваться на эту маленькую чету. Баронессе особенно нравилось, что будущий муж был уступчив и покорен воле будущей супруги. Некоторые соседы, не ослепленные пристрастием, потихоньку осуждали это слишком раннее в годах развитие чувства, которое никогда не поздно узнать. Но баронесса, обольщенная мыслью, что дочка будет обладательницей огромного имения, предвидела одно ее величие и благополучие. Фюренгоф, который душевно желал бы зарыть свои сокровища в землю, чтобы они никому не доставались, объявлял между тем, что он утешается мыслью передать свое имение, нажитое многолетними трудами, сыну сестры, которую он особенно любил, и молодому человеку с хорошими надеждами. Действительно, известно было, что он терпеть не мог мать Густава за горькие истины, некогда ею сказанные, и процесс, затеянный ею по случаю оспаривания последнего отцовского завещания.

Когда Адольф принужден был отправиться в Упсальский университет доканчивать учение и начинать новую жизнь, убивать первые, чистые впечатления природы и знакомиться с тяжелыми опытами; когда нашим друзьям надо было расстаться, одиннадцатилетняя невеста и четырнадцатилетний жених обливались горькими слезами, как настоящие влюбленные. Долго не могла она забыть своего дорогого Адольфа; долго не могли истребиться из памяти и сердца студента глазки Луизы, томные, черненькие, как жучки, каштановые шелковые локоны, которыми он так часто играл пальцами своими, белые ручки ее, обвивавшие так крепко его шею при тяжком расставании, и слезы, горячие слезы его, лившиеся в то время по его щекам. Иногда профессор истории, среди красноречивого повествования о победах Александра Великого, от которых передвигался с места на место парик ученого, густые брови его колебались, подобно Юпитеровым бровям в страх земнородным, и кафедра трещала под молотом его могущей длани, – иногда, говоря я, великий педагог умильно обращался к Адольфу со следующим возгласом:

– Вижу, вижу по блестящим глазам господина Траутфеттера, что он далеко пойдет за великим полководцем.

Адольф краснел от этой похвалы, потому что огонь, горевший тогда в его глазах, зажгли не победы Александровы, но воспоминание о прогулках с Луизой по гильметскому саду. Он встречал ее в путешествиях по всем странам света, проходимым с учителем географии: свет его был там, где была милая Луиза. Она преследовала его и на бастионах, которым планы чертил Адольф для математического класса. От студенческой скамьи перевели его в трабантский полки отправили прямо в победоносную королевскую армию, не дав ему повидаться с предметом его нежных воспоминаний. На первых квартирах и даже в первых лагерях разбирали он еще залогов дружбы, целовал с жаром ленточку, которою некогда милая подпоясывалась, клочок бумажки с магическим именем Луиза, засохнувший цветок, ею подаренный. Но чего не делает

всемогущее время и не в такие лета? Прошло два, три года, и Адольф, один из отличнейших офицеров шведской армии, молодой любимец молодого короля и героя, причисленный к свите его, кипящей отвагою и преданностью к нему, – Адольф, хотя любил изредка припоминать себе милые черты невесты, как бы виденные во сне, но ревнивая слава уже сделалась полною хозяйкой в его сердце, оставивши в нем маленький уголок для других чувств. Ветренник растерял даже залоги дружбы, для него прежде бесценные. К тому ж он знал Луизу как дитя, а образ детский – не сильный проводник к сердцу двадцатилетнего пригожего воина, которому каждый побежденный городок дарит вместе с лаврами и свежие мирты. С другой стороны, Луиза, вспоминая свое прежнее обращение с женихом, начинала стыдиться детских своих нежностей. При имени Траутфеттера она краснела и показывала неудовольствие, если уже слишком красноречиво описывали ее бывалую к нему привязанность. Впрочем, они изредка вели друг с другом переписку, которую диктовала невесте мать, а жениху обязанность. Слова «милый Адольф, милая Луиза» заменились в письмах более холодными именами: «любезный, любезная». Наконец они стали помнить только обязательство, которое, может быть, потому не забывали, что баронесса напоминала о долге каждому из них под разными видами. Немудрено, что миг свидания мог расшевелить огонь, тлеющий под пеплом времени, и произвести пожар, который трудно было бы потушить.

Срок, положенный для брака по расчету, наступил; но война свирепствовала во всей ее силе, и Адольф, страстно приверженный к особе и славе короля, почитал неблагодарностью, преступлением, бесчестьем удалиться от милостивого лица своего монарха и победоносных его знамен. Он мог получить дозволение служить в лифляндском корпусе, но даже и этот предлог отбыть из главной шведской армии представлялся ему каким-то постыдным бегством. Вследствие чего писал он решительно к дяде, что прежде года не может быть на своей родине. Это извещение ничего не переменило в обязательстве баронессы Зегевольд и Фюренгофа: решились ожидать терпеливо еще год и, если нужно, более. Как благоразумные кормчие, они не теряли между тем надежды, что попутный ветер скорей вздует паруса управляемого ими судна и принесет его благополучно к острову Гименея и Плутуса; проще сказать, они ожидали, что благоприятный случай доставит Адольфу возможность скорее удивить их нечаянным приездом.

Сняв очерки с матери и дочери и описав обстоятельства, в каких они находились, обрисую и других членов придворного гильметского штата, играющих более или менее важную роль в нашем романе. Во-первых, выступает перед нами девица Аделаида фон Горнгаузен. Она считала седьмого гермейстера Бургарда своим родоначальником и, по-видимому, упала очень низко с этого дерева; ибо от всей давнопрошедшей знатности предков удержала за собою только имя их и старый пергамент, на котором ничего разобрать нельзя было и который, будто бы, потому-то и доказывал высокий род ее. От всего же богатства гермейстерского достались ей в удел несколько гаков земли, частью под песком, частью под болотами, принятых вместе с ее особою под покровительство баронессы, Аделаида считалась *demoiselle d'honneur* [фрейлиной – фр.] при гильметском дворе. Не только зрелая, но уж и увядающая дева, она казалась всегда сердитою, потому что некогда, а не теперь, слыла прекрасною, потому что некогда мотыльки обжигали себе крылья около ее приятностей, а ныне удалялись их, как погорелой жнивы. Она вела подробно, с математическою точностью, реестр годам своих подруг, а о своих летах умалчивала с приличною скромностью. Панегирики безбрачной жизни не мешали самой ей ожидать себе суженого с вечною любовью, которого вела к ней вечная надежда. Старое золотое время было всегдашним предметом ее разговоров. Тут являлись кстати и некстати роды знаменитых гермейстеров, кровные связи ее с магистрами коадьюторами, высокие замки, где каждый барон был независимый государь, окруженный знатными вассалами, пригожими пажами, волшебниками-карлами, богатырями-оруженосцами и толпою благородной дворни (*Hofleute*). Тут выступали турниры, где красота играла первенствующее лицо, на которых брошенная пер-

чатка любимой женщины возбуждала к подвигам скорее, нежели в начале XVIII столетия все возможные жертвы, не оправленные в золото. Она так страстно любила рыцарские романы, что за чтением их забывала общество, пищу и сон. Воображение ее настроено было этим чтением до того, что ей во сне и наяву беспрестанно мерещились карлы, волшебники, великаны и разного образа привидения. Она была и чувствительна, как цветок недотрога: не могла без ужаса видеть паука, кричала, когда птичка вылетала из клетки, плакала от малейшей неприятности и смеялась всякой безделице, как ребенок. Уважение связей ее с родственницею председателя редуccionной комиссии и желание протезировать высокую отрасль седьмого лифляндского гермейстера побудили баронессу Зегевольд принять ее под свое крыло и смотреть на ее недостатки снисходительным оком. Ее берегли, как старый жетон, для редкости, а не потому, чтобы он имел ценное достоинство. Второе лицо гельметского придворного штата был библиотекарь, Адам Бир. Отец его Томас, математик и антикварий, столько же славился ученостью своею, сколько и кабалистикой, расстроившею его рассудок до того, что он предсказывал конец мира и держал заклад с одним упсальским аптекарем, который не соглашался с ним только в год и месяце исполнения пророчества. Чудак, уверенный в своих кабалистических выкладках, роздал свое имущество бедным и с двумя детьми умер бы, конечно, с голоду, если б его не отыскивали благодеяния королевы Христины. Сын его наследовал, вместе с ученостью и умом отца, некоторые его странности – некоторые, говорю я, потому что, идя по ступеням своего века, он умел оставить позади себя те схоластические бредни и предрассудки, принадлежавшие XVII столетию. Любя науки и природу, как страстный юноша, с чувствами свежими, как жизнь, развернувшаяся в первый день творения, он чуждался большого света, в котором не находил наук, природы и себя, и потому создал для себя свой, особенный, мир, окружил себя своим обществом греков и римлян, которых был страстный поклонник. Он любил людей, как братьев, желал служить обществу своими трудами и дарованиями; но общества бегал, как заразы. Воображением и сердцем Адам был в том состоянии, как одноименный ему первый человек, когда не гремели еще над ним слова: «В поте лица снеси хлеб твой». Он не знал, что и насущному хлебу надобно делать прииски. Не говорим уже о милостях фортуны, которая давным-давно спустила повязку с одного глаза и жалуется только усердных своих почитателей. Достигнув возмужалости, он был все еще молод и неопытен сердцем, как в летах своего младенчества. Характер его можно было уподобить горному ветру, который спускается иногда в долину, но в ней никогда не удерживается. Ничего нельзя было заставить его сделать по воле, все можно – ласкою, словами чести, уважением законов, любви к ближнему и к отечеству. Кроткий, услужливый и почтительный, пока требовали от него должного и не угнетали его, он умел даже сносить некоторые легкие оскорбления; но когда чувствовал удары, прямо направляемые на доброе его имя, тогда он и сам размахивался и возвращал их без околичности, со сторицей. Белое никогда не называл он черным и черное белым, хотя требовали того собственные его выгоды и угождения людям сильным. Надо ли было молчать об угнетении – он говорил вслух и именно при тех, которые на теплых крылышках готовы были перенести его слова, как обыкновенно случается, с прибавками; надо ли было говорить о громких подвигах великих злодеев – он молчал. К довершению его портрета скажем, что он, проведя большую часть жизни в уединении, сделался застенчив, стыдлив, подобно красной девице, неловок, чужд утонченных приличий большого света и рассеян до смешного.

Этот чудак воспитывался в Упсальском университете и получил в нем кафедру по смерти отца. Но за несоблюдение будто формы по одному делу, а более за то, что он в избытке откровенности сказал, что университетом управляет не ректор, а ректорша, его гнали и изгнали с аттестацией человека беспокойного и ненадежного. Нужды напали на него со всех сторон: люди, не знавшие его и не принимавшие никогда на себя труда исследовать его поступки, повторяли за его доброжелателями, что он человек негодный. Больно было Адаму терпеть несправедливые гонения; но он не преклонил головы ни перед людьми, ни перед роком своим.

Он терпел нужды, оскорбления и вражду с твердостью, истинно стоической, находя в объятиях природы и наук вознаграждения и утешения, ни с чем не сравненные. Судьбе угодно было исторгнуть его из бедного положения: сестра его, одна из ученейших женщин своего времени, нашла случай поместить своего брата в дом баронессы Зегевольд в должности учителя к ее дочери. Эту священную обязанность исполнил он наилучшим образом. Тщеславная обладательница Гельмета, умевшая постигнуть его познания и понять слабости, умела и береечь его. Окончив воспитание богатой наследницы, Адам перешел в должность секретаря при баронессе. Но здесь он не годился. Частые поездки его с дипломаткой, посещения знатных домов, где он часто, от застенчивости, горел, как Монтезума на углях, обеды, казавшиеся ему тягостнее дежурств, иногда несогласия его с баронессой в мнениях по разным предметам произвели в нем отвращение от новой должности. Сама дипломатка искала благовидного случая отказать ему от нее. Случай этот вскоре представился. Приятельница баронессина уведомляла ее, как водится, с прискорбием, о кончине шестидесятилетнего мужа своего, быв уверена, что она, по дружеским связям с нею, примет участие в ее горестной потере. Как нарочно, в то же время соседка Амалии Зегевольд извещала ее о смерти щенка знаменитой породы, которого она, по просьбе ее, достала с необыкновенными трудами и готовилась отправить к патриотке для отсылки известному министру шведскому, страстному охотнику до собак. Ответы, исполненные почти сходно один с другим сожаления о смерти редкого мужа и щенка с необыкновенными достоинствами, погибнувшими для света, были подписаны баронессой; но Адам, в рассеянности, улетев воображением своим за тридевять земель в тридесятое царство, перемешал конверты писем. Можно вообразить, какую суматоху наделали послания.

– Называть щенка моим мужем! – говорила одна, задыхаясь от гнева.

– Называть щенком моего мужа! Слыхана ли такая дерзость? Этого бесценного друга, ангела земного!.. – говорила другая (хотя она этого ангела при жизни терпеть не могла).

Много стоило труда баронессе помириться с приятельницами своими. Между тем секретарь уволен был от настоящей должности и определен в библиотекари гельметского замка. Здесь он был совершенно в своей сфере: мог без важных последствий ставить фолианты вверх ногами, сближать Эпикура с Зеноном, сочетать Квинта Курция с Амазонками из монастыря, помещать Награжденную пробу любви верного Белламира между Проповедями и так далее, в забывчивости перемешать всю библиотеку, на приведение которой в порядок потребовалось бы целое общество библиоманов. Вместе с новой должностью Адаму дана полная свобода быть, где пожелает, и делать, что хочет. С этой эпохи почитал он себя счастливейшим из человеков.

На место его поступил секретарем к баронессе Элиас Никласзон. Не знали именно, откуда он родом, хотя выдавал он себя за немца. Иные почитали его итальянцем, другие уверяли, что он из роду, считающего своим отечеством то место, где находит для себя более денег. В самом деле, все, что особенно свойственно еврею: неутомимое терпение, пронырство, двуличность, низость и, наконец, сребролюбие, означались в Элиасе резкими чертами. Когда он имел в ком нужду, готов был в первый день своего искательства вытерпеть даже побои. На другой день он стоял уже на ступени, ближе к своей цели: если здесь он был обруган, то молчал и кланялся. На третий день он являлся в передней и дежурил в ней, не пивши и не евши с утренней зари до полуночи, несмотря на оскорбления слуг. Можно быть уверена, что к концу недели встречался он в кабинете того, в ком искал милостей, и выходил от него, получив желаемое, с гордостью набоба. В Никласзоне было два человека: внешний и внутренний. Лицо его всегда улыбалось, хотя в груди его возились адские страсти; судя по взгляду его серо-голубых глаз, приветливому, ласковому, казалось, что он воды не замутит, между тем как готовил злодейские замыслы. Черты его лица вообще были правильны, но обезображены шрамом на лбу, этим неизгладимым знаком буйной жизни. Говорили, что он получил некогда почетный рубец осколком бутылки, пущенной в него товарищем в споре за предмет, их достойный. При людях

значительных он боялся прикоснуться к рюмке, не мог принимать лекарства, в котором хоть несколько капель было вина; зато в кругу задушевных, ему подобных, он исправно осушал стаканы. Разговор его был самый уступчивый и сладкий; казалось, он не находил слов для противоречия; в замену красноречия лести было в нем неистощимо. На языке носил он мед, а под языком яд. В гильметском замке он умел угодить всем, от госпожи до дворовой собачонки; один Адам Бир не терпел его и не скрывал своего отвращения. Баронесса особенно любила его за точное и усердное исполнение секретарских обязанностей, за щегольской почерк его письма и сладкий слог, угождавший всем, кому он писал, за умение питать ее самолюбие и особенно за обещание привести к ней пленником Паткуля. Безграмотному Шнурбауху составлял он аптекарские счета, в которых приход с расходом всегда был верен, и такие исправные, что иголки нельзя было под них подпустить; жену амтмана никогда не забывал величать госпожою фон Шнурбаух и даже дворецкому пожимал он дружески руку. Но высшие в нем достоинства, которыми покрывались все другие и с которыми можно далеко пойти в свете, были умение выдерживать и умение пользоваться. Мы должны прибавить, что он был в тесных связях с Фюренгофом и по его ходатайству попал в дом баронессин.

Остается нам взглянуть еще на парочку двуногих животных и потом запереть свой зверинец. Первый из них, амтман Шнурбаух, потому только не назывался ни возовым, ни выючным, что ходил на двух ногах и имел образ человеческий. Он был простенок; но этот умственный недостаток вознаграждался в нем также двумя высокими качествами: исполнительностью и строгостью, которые, в некотором кругу и особенно у больших бар, выигрывают иногда более достоинств ума и сердца. Если бы приказали ему дать сто ударов, то он почел бы за преступление дать их только девяносто девять. Тот, кто платил ему деньги, мог навьючить его всякою нечистотою, неучтиво погонять его и даже заставить караулить мух, будучи уверен, что он все исполнит и снесет с подобострастием, лишь бы платили ему деньги и приговаривали притом частицу фон. В доказательство преданности его к особе баронессы она приводила, что он два года служил при ней из одного усердия, без всякого жалованья. Кто, однако ж, выведал его хорошо, знал, что на обманы для своей пользы он провел бы мудреца. Лишенный одного глаза взрывом пороха при учреждении фейерверка, Шнурбаух видел остальным, где было мягко упасть и сладко поесть, не хуже зрячего обоими глазами. Супруга его была столько же толста глупостью, как и корпусом, любила рассказывать о своих давно прошедших победах над военными не ниже оберст-вахтмейстера, почитала себя еще в пышном цвете лет, хотя ей было гораздо за сорок, умела изготавливать годовые припасы, управлять мужем, управителем нескольких сот крестьян, и падать в обморок, когда он не давался ей вцепиться хорошенько в последние остатки его волос. Таковы были главные домочадцы гильметского двора.

Глава десятая

Ошибка

Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!

Пушкин

В один майский вечер того ж года, с которого начался наш рассказ, садились в карету, поданную к террасе гельметского господского дома, женщина зрелых лет, в амазонском платье, и за нею мужчина, лет под пятьдесят, с улыбающимся лицом, отмеченным шрамом на лбу. Это были баронесса Зегевольд и секретарь ее Никласзон. Они отправлялись по дипломатическим делам в Дерпт, откуда хотели возвратиться через двое суток. Баронесса объявила, однако ж, что если к этому сроку не явится, так это будет знаком, что она поехала в Пернов, куда ее давно приглашает университет. Бич хлопнул; карета покатила со двора; скоро облако пыли окутало ее вдали; и все в доме оживилось, лица у всех просветлели. Толпа слуг походила на людей, выпущенных из тюрьмы: такую перемену сделало в Гельмете отсутствие властолюбивой его госпожи.

Луиза, проводив мать свою, отправилась в рощицу, на ближайший к дому холм, мимо которого пролегла феллинская дорога. Здесь предупредила ее девица Горнгаузен. Сентиментальная дева дочитывала, для большего эффекта вблизи развалин замка, презанимательный рыцарский роман, в котором описывались приключения двух любовников, заброшенных – один в Палестину, другой – в Лапландию и наконец с помощью карлы, астролога и волшебницы соединенных вечными узами на острове Св. Доминго. Глаза Аделаиды сверкали огнем вдохновения, щеки ее горели; временем катились по ним слезы, которые она спешила перехватить платком, чтобы сокрыть их от коварных свидетелей.

Другая спутница Луизы, домоправительница фон Шнурбаух, заняв одна целую скамейку, посреди жирных мопсов, никогда с нею неразлучных, хотела было расплодиться в повествовании о каком-то драгунском полковнике времен Христины, вышедшем за нее на дуэль, но, увидев, что ее не слушают со вниманием, должным высокому предмету, о котором говорила, она задремала и захрапела вместе с своими моськами. Для Луизы эти подруги были совершенно посторонни чувствами и образом мыслей. Умевшая ее понимать была далеко. С особенным удовольствием засмотрелась она на приятности вечера, на которые природа во всю весну не была еще так щедра. Разгоревшийся лик солнца начал склоняться на землю; около него небо подернулось розовою чешуей, а вдали по светло-голубому полю бежали в разные стороны облачка белоснежные, как стадо агнцев, рассыпавшихся около своего пастыря. Рделся гребень возвышений, между тем как тень одевала уже скат их и разрезала озеро пополам. Фас дома был облит заревом небесного пожара, стекла в окнах горели. Деревья переливались оттенками зелени, желтизны и румянца. Соловьи в разных местах сада распевали пламенные гимны любви. С кудрей черемухи теплый ветерок далеко разносил благоуханье. Вечерние мотыльки во множестве перепархивали с места на место, и рои мошек толпились в умирающих лучах солнца, спеша насладиться, может быть, остатными минутами своей дневной жизни. Все в природе, пользуясь последними его благодеяниями, радовалось и нежилось.

Облокотясь на ручку скамейки, Луиза предалась различным мечтаниям: то думала о милой Кете, то вспоминала о своем детстве, вспоминала об Адольфе, может быть, упрекала его в забвении, и – таково влияние весны! – вздохнула о своем одиночестве. В это время послышался конский топот. Вслед за тем с горы, по феллинской дороге, мелькнул кавалерист. Он ближе: можно уж заметить, что это офицер гвардейского трабантского полка, того самого, в

котором служит Адольф. Кто бы это такой был? в такое время? Он дает знак сторожу у подъемного моста, чтобы его опустили. Цепи звучат; мост опущен. Статный вороной конь, испуганный шумным падением его, храпит и встает на дыбы. Луиза боится за незнакомца; но конь, покорный искусному всаднику, быстро переносит его через мост, гремющий под ним в перекатах. Офицер проезжает мимо холма. Проницательные взоры восемнадцатилетней девушки могут уж различить, что он очень недурен собой. Заметив ее, он учтиво ей кланяется, въезжает на гору, на господский двор, останавливается у террасы и слезает с лошади. Фриц принимает у незнакомца лошадь и, всмотревшись пристально в его лицо, говорит ему:

– Добро пожаловать, гость желанный!

– Кто бы это такой был? – спрашивает себя Луиза. Сердце ее необыкновенно бьется. – Маленьки нет дома: как принять без нее незнакомого мужчину?

Слуга выходит навстречу офицеру.

– Дома ли баронесса? – спрашивает последний.

– Нет, – отвечает слуга, – она уехала с час тому назад в Дерпт.

– Кто ж дома?

– Фрейлейн.

– Доложи ей, что барон Траутфеттер, приехавший из армии, просит позволения ей представиться.

Слуга, не делая дальнейших расспросов, опрометью побежал в дом искать кастеляна для доклада и дорогою, толкая встречных и поперечных, кричал как сумасшедший, что жених барышнин приехал! Тотчас по всему дому разнеслось одно эхо:

– Жених, жених барышнин приехал!

От передней до девичьей повторялись эти слова. Вероятно, их слышал и гость. Наконец явился перед молодою госпожой своей старик дворецкий и провозгласил, как герольд, что барон Адольф фон Траутфеттер приехал из армии и желает иметь честь ей представиться. Луиза в ужасном волнении. Как с неба упал перед нею тот, кто с малолетства назначен ей в супруги, от которого зависело счастье или несчастье ее будущности, и тогда явился он, когда полагали его за тысячу верст. Домоправительница, исторгнутая необыкновенным движением из моря покоя, в которое была погружена, вскочила со стула, за нею бросились москы с лаем. Первый предмет, ей представившийся, была Луиза, бледная как полотно.

– Что сделалось с вами, фрейлейн Зегевольд, любезная, драгоценная фрейлейн Зегевольд? Воды! Муравейного спирту! – кричала Шнурбаух, переваливая свою дородную фигуру с места на место.

Но Луиза и без посторонней помощи пришла в себя. Она отвечала дворецкому, что просит гостя пожаловать.

– Грубый, железный век! – произнесла Аделаида Горнгаузен с томным жеманством. – Любовники являются в собственном виде и еще под своим собственным именем! Фи! кастеляны о них докладывают! В былой, золотой век рыцарства, уж конечно, явился бы он в одежде странствующего монаха и несколько месяцев стал бы испытывать любовь милой ему особы. – Здесь она тяжело вздохнула, хотела продолжать и вдруг остановилась, смутившись приходом гостя, награжденного от природы необыкновенно привлекательною наружностью.

«Боже! как она прелестна!» – подумал Траутфеттер, встретясь с глазами Луизы. «Как он выгодно переменился!» – думала в свою очередь молодая хозяйка, у которой кровь от сердца быстро поднялась в щеки при первом взгляде на нее милого знакомого-жениха. Гельметские жительницы говорили про себя: «Хорошенький мальчик сделался приятнейшим мужчиною. В нем сейчас узнать можно Адольфа, хотя некоторые черты изменились. Удивительно ли? его не видали семь лет, с того времени, как он уехал из Гельмета четырнадцатилетним мальчиком». Домоправительница не совсем, однако ж, верила глазам, чтобы это был любимец ее Адольф. Казалось, у того нос был несколько более вздернут, и глаза не так черны, хотя так же живы и

плутоваты, как у этого; и волосы у того были посветлее! Она хотела бы, но стыдится надеть очки: ей только под пятьдесят, а ее почтут старушкой! Но, опять, Адольф мог перемениться с того времени, как его не видали.

Милый гость говорил приятно и умно, рассказывал, что он определен в корпус Шлиппенбаха; шутя, прибавлял, что назначен со своим эскадром быть защитником гелемetskого замка и что первую обязанностью почел явиться в доме, в котором с детства был обласкан и провел несколько часов, приятнейших в его жизни.

«И я помню эти часы!» – думала с удовольствием Луиза.

– Вот каковы влюбленные трабанты его величества! – говорила Шнурбаух, вполголоса и вздыхая, девице Горнгаузен. – Месяцы кажутся им часами. Ах! и я знала некогда времечко, летевшее для меня стрелою!

– Чего не могу простить этому пригожему офицеру, – произнесла шепотом сентиментальная дева, – так это холодность, с которою он явился к своей невесте! Ни коленопреклонений, ни страстных вздохов! От него так и несет его холодным XVIII столетием. Предчувствую, что их любовь не будет вечная.

Заметно было, что Луизе не неприятен ее жених. Привлекательная его наружность, особенно глаза, которые высказывали так много и так убедительно; благородство, ум, чувство в каждом слове – все было в его пользу при сравнении его с другими мужчинами, которых она знавала. Все, что выходило из красноречивых уст его, падало на сердце Луизы, оплодотворялось и разливалось в нем. Первое впечатление над обоими сделано, и неозвратно. То, что она чувствовала к нему, не считала опасным: сердце ее повиновалось матери, слушалось обязанностей, нтверженных ей с девяти лет. Любовь манила ее в храм, куда она шла с душою непорочною. Как сладостно предаваться мечтам, согласным с долгом и рассудком! Что ж чувствовал он?..

Мы должны открыть читателю ошибку Луизы и обитателей замка, встретивших гостя. Он – не Адольф, не жених ее, но двоюродный брат Адольфа, барон Густав Траутфеттер, старший его двумя годами, но схожий с ним до того, что знавшие их некоротко и выдавшие их порознь принимали одного за другого. Лукавые люди не находили ничего заметить против этого редкого сходства, потому что матери их были родные сестры, также чрезвычайно похожие друг на дружку. Густав приехал из армии короля шведского в Лифляндию служить под начальством Шлиппенбаха и получил назначение командовать эскадром драгун, расположенным близ Гельмета, в Оверлаке. Имея с собою письмо от Адольфа к баронессе Амалии Зегевольд и помня, что в малолетстве принят был в ее доме, как родной, он воспользовался первыми свободными часами, хотя уже и вечерними, чтобы скорее выполнить поручение своего двоюродного брата. Надо было, чтоб судьба, издеваясь над человеческими расчетами и планами, слишком рано затеянными, вызвала баронессу в тот же самый день из Гельмета, и, как нарочно, перед приездом Густава. Неизвестно, без умысла ли он не сказал своего имени служителю, встретившему его на террасе, или с умыслом, по случаю бывшего у него с Адольфом шуточного спора, что невеста примет за жениха постороннего человека, следственно, забыла Адольфа и перестала его любить. Густав легко заметил, за кого его принимали, и, в торжестве победы своей или, вернее, по сильному впечатлению, сделанному над ним прелестями Луизы, вместо того, чтобы скорее обнаружить истину, старался всячески продлить ошибку, для него приятную и ни для кого не опасную – по крайней мере, так ему казалось.

Начало смеркаться. Густав, упоенный успехами первой встречи, хотел бы продлить долее свое пребывание в Гельмете; надо было, однако ж, отправляться домой.

– Маменька непременно через два дня будет назад, – сказала Луиза, прощаясь с ним, как с давнишним знакомцем своего сердца...

– Через два дня, – отвечал он, вздохнув, – буду здесь непременно.

Возвращаясь в Оверлак, Густав сбился с дороги, о которой расспросил не хуже колонновожатого, и проплутал до рассвета, как человек, одержимый куриною слепотой. Так же и в замке было что-то не по-прежнему. Домоправительница, сметливая в делах сердечных, смекнула, по какой причине Луиза необыкновенно нежно поцеловала ее, отходя в свою спальню. В минуты истинной любви всех любишь. Даже горничная заметила, что барышня до зари не могла заснуть и провозилась в постели.

На другой день в замке только и было разговоров, что о пригожем женихе; не упустили из виду, что он и с низшими был приветлив; Фрица особенно ласково благодарил за то, что подержал его лошадь, а сторожу у моста дал серебряную монету: знаки доброго, щедрого сердца! Все обитатели замка молили от души бога, чтоб он даровал будущей чете долгие лета. Видно, говорили они, за доброе сердце нашей барышни посещает ее господь своими милостями. Шнурбаух не наговорила о достоинствах мнимого Адольфа и признавалась, перебирая трехпоколенную роспись своих поклонников, что ни одного равного ему не находила. В этом случае Луиза не сердилась на нее. И сам Бир изъявил свое желание видеть Адольфа, в детстве любившего натуральную историю, греков и римлян и потому обещавшего много доброго.

В назначенный день в замке ждали с нетерпением не баронессу, а жениха молодой госпожи. Домоправительница особенно желала ему понравиться, чтобы заслужить богатый подарок в день свадьбы, и потому, распушенная, как пава, в гродетуровый, радужного цвета, робронд, стянутая, как шестнадцатилетняя девушка, едва двигаясь в обручах своих фижм, она поспешила предстать в этом наряде на террасу замка, откуда можно было скорее увидеть прибытие ожидаемого гостя. Казалось, что она стянула с себя десятка два лет; даже решилась она, по просьбе Луизы, сделать важную жертву и вытерпеть гнев баронессы, прогнав своих мосек в департамент супруга и пристроив по дальним отделениям замка сибирских и ангорских кошек, собачек постельных и охотничьих, курляндских, датских, многих других, различных достоинств, пород и краев, – весь этот зверинец баронессиных любимцев. Луиза, боясь насмешек домоправительницы, убедила ее не помянуть даже словечка о детской привязанности ее к Адольфу и избавить тем ее от необходимости краснеть.

Мнимый Адольф не заставил долго ожидать себя. Он явился вскоре после обеда. Ему казалось, взглянув на Луизу, что в два дня, которые он ее не видал, развились в ней новые прелести. Глаза ее блистали приветным огнем, который третьего дня едва тлелся из-под длинных, черных ресниц; лицо ее, прежде несколько бледное, ныне оживилось румянцем здоровья и удовольствия; уста ее как будто улыбались встрече счастья и манили насладиться им. Она еще любезнее, еще доверчивее в обращении со своим женихом; в простосердечии невинной любви она только что не говорила: видишь, Адольф, несмотря на долгую разлуку, я люблю тебя по-прежнему! Густав, безрассудный Густав предавался также более и более обольщениям сердца. К несчастью их, баронесса в этот день не приезжала, и в этот день ничто не подало повода к разочарованию обмана, в который введены были все обитатели замка насчет мнимого Адольфа. Сам Бир, близорукий и рассеянный, признал его за того неутомимого мальчика, спутника своего по горам и лесам, который раз нашел ему редкое растение из рода *Selinum*, а в другой раз бесстрашно убил палкой змею из поколения *Coluber berus*. Густав уверял, что он забыл эти услуги и подвиги, но Адам, в доказательство их, непременно обещал ему к завтрашнему дню отыскать растение в травнике своем и показать в банке змею. Бывший учитель Луизы очень полюбил мнимого Адольфа, уверяя, что сердце не обманывает его насчет нравственных достоинств жениха. Казалось, малейшая безделица, одно наименование кем-либо Густава Адольфом могло разрушить усилившуюся к нему любовь Луизы, как малейший ветерок разрушает карточные палаты. Но судьба сама сторожила очарование.

Когда Густав возвращался домой, совесть пробудилась было в его сердце; но он старался заглушить ее следующими рассуждениями: «Ветреник Адольф мало думает о своей невесте. Еще перед моим отъездом наказывал он мне помолчать о своих проказах и божился, что если б

не миллионы дядюшкины и не поход на следующий день, то он навсегда бы простился с гелем-метской Луизой, которая одиннадцати лет была для него мила, как амур, но которая теперь годится только в наперсницы какой-то Линхен, прелестной в осьмнадцать лет, как мать амуров. Ветрогон! не знает всей цены сокровища, его здесь ожидающего; он не знает, что для Луизы можно забыть и дядюшкины миллионы, и всех женщин на свете. Право, когда бы не благосостояние моего двоюродного брата и его потомства, я попытался бы отнять у него нареченную. Она так мила, что, ей-богу, не достанет сил человеческих отказаться от удовольствия быть ей приятным. Впрочем, невелика беда несколько минут попользоваться невинными правами жениха. Завтра легко будет поправить ошибку и привести все в прежнее состояние; завтра, торжественно, при маменьке этого ангела, произнесу магическое имя Адольф, подам его письмо – и опять превращусь в бедного, ничтожного Густава. А теперь пусть не взыщет ветреник, если обстоятельства, не от меня зависевшие, не мною нарочно устроенные, дают мне приятный случай поторжествовать над ним и пошутить на его счет. Может быть, это плата тою же монетою за какие-нибудь старые долги. В первом письме к нему опишу свои проказы и решительно объявлю ему, чтобы он спешил насладиться счастьем, столько лет его ожидающим. А то немудрено, что сыщется другой избранник, который не шутя и не под именем Адольфа понравится его невесте». Так рассуждал Густав, утешая себя мыслью, что эта игра случая кончится завтра.

На другой день Густав опять в замке, для свидания с баронессой, и опять баронесса не приезжала. Говорили о любви. Надобно знать, что девушка, потерявшая право внушать это чувство, имеет право разбирать его сколько угодно, и потому девица Горнгаузен утверждала, что истинная любовь не может существовать без препятствий. На стороне ее был Густав, увлеченный голосом сердца, которое в настоящем своем положении помирилось бы на большие пожертвования, лишь бы уверено быть во взаимности любимого предмета и не лишиться надежды когда-либо обладать им. Луиза молчала; она казалась оскорбленной. «Странные желания! – думала она. – Счастье, приготовленное благоразумными распоряжениями наших родителей, нам, улыбаясь, идет навстречу. Мы можем пользоваться им спокойно. Нет, это нам не нравится. Надобны несчастья, препятствия, страдания!.. Но... может быть... Адольф не любит меня? Недаром он задумывается так часто! Не грустит ли, что приехал исполнить свои обязанности?.. С радостью освобождаю его от этих обязанностей, если сердце в них не участвует. С радостью?.. Полно, так ли?.. Правда, мне будет тяжело это сделать. Я люблю... да! я должна себе в этом признаться; но желала бы, чтоб и он любил меня, свободно, без расчетов и принуждения. В противном случае союз наш будет пренесчастный».

Луиза решила немного пококетничать, сама не зная того, и начала явно показывать свое равнодушие к мнимому Адольфу. Недолго делала она этот опыт: Густав сделался еще грустнее; между тем глаза его, нежное его обхождение только и говорили ей о страсти робкой, но истинной. В один миг все неприятности забыты: они были легки, подобно дыханию, которое тускнит на миг светлую сталь и вдруг с нее сбегает. В замке Густав был весь любовь, безрассудная, ослепленная; но, когда он терял из виду Гельмет, раскаяние вступало в права свои.

«Нет, – рассуждал он с самим собою, – нет, не буду продолжать далее обмана, опасного для нас обоих! Она не может быть моею. Дружба, родство, честь, долг – сто преград против меня. Хорошо, что еще время! Завтра не поеду в замок; послезавтра буду там: к этому сроку подъедет мать, и все откроется. Может быть, я ошибаюсь, видя к себе некоторые знаки особенного внимания; тем лучше, если ошибаюсь. Впрочем, если б она в самом деле могла чувствовать ко мне что-нибудь, то это что-нибудь происходит в ее сердце единственно от уверенности, что я жених ее. В противном случае она обходилась бы со мною иначе. Потеряю имя Адольфа – и потеряю все, что оно в себе заключает: все блага, которые оно с собою приносит. Мне уж двадцать два года: я знаю женщин! На бедного Густава не будут смотреть теми глазами, какими смотрели на Адольфа, наследника миллионера. Поспешу отбросить от себя этот пагубный талисман. Слава богу, еще время!»

Несколько дней Густав не являлся в замок, эти дни были для него веком пытки! Он хотел быть твердым и переломить себя, так он говорил.

В замке пустота была ощутительна; скука налегла на всех; прекрасные дни казались душными; если не было грозы, так несносный жар предвещал ее; мошки кусали нестерпимо; рассказы девицы Горнгаузен о рыцарских временах были приторны, беседа домоправительницы – несносна. Все эти обстоятельства не выходили из обыкновенного круга природы и жизни обитателей замка; но для Луизы они казались необыкновенными. Только по временам, когда упоминали об Адольфе, удовольствие проглядывало на ее лице, как улыбка, вынужденная на уста больного утешением лекаря. К скуке привилось и беспокойство, что баронесса так долго не возвращалась. Решились писать к ней в Пернов, узнать об ее здоровье и уведомить, что Адольф приехал из армии. Ответом медлили; однако ж его получили, и, будто нарочно, перед самым прибытием Густава в замок. Он не мог выдержать более трех дней, не выдавшись с тою, с которою должен был скоро разлучиться, может статься, навсегда. Это предчувствовал он, и между тем шел на зов собственного сердца, как на обманчивый голос крокодила. Баронесса Амалия писала к своей дочери, чтобы не беспокоились насчет ее здоровья, которое в наилучшем положении, что она радуется нечаянному приезду Адольфа, и наказывала дочери сколько можно ласковее принимать дорогого гостя, чаще приглашать его в Гельмет и помнить, что он жених ее. Из этого письма опытный наблюдатель нравов мог видеть, что и в начале XVIII столетия маменьки умели давать дочкам искусные наставления, как завлекать в свои сети богатых женишков, хотя в тогдaшнее время наука эта не была еще доведена до такого утончения, в каком видим ее ныне. Баронесса не могла предвидеть, что самые эти наставления соберут новые грозные тучи над ее домом. Между прочим, тщеславная патриотка описывала торжество, с каким приняли ее в Пернове ученые Дерптского университета, и оканчивала свое описание изречением королевы Христины: «C'est ainsi qu'on entre incognito a Rome!» [Так-то вступают инкогнито в Рим! – лат.] Баронесса присовокупляла, что важные дела задерживают ее в Пернове еще на несколько дней.

– Маменька здорова, – сказала Луиза, встретив Густава с лицом, сиявшим от радости и вместе выражавшим упрек за долгое отсутствие. – Она приказала вам сказать, что помнит и любит вас по-прежнему, когда вы были дитею нашего дома.

– Разве вы уж писали к ней, кто приехал? Кажется, такой незначащий человек, как я, не достоин был занять столько строк в вашем и ее письме, – отвечал смущенный Густав.

– Напрасно вы так думаете. Напротив, я поспешила ее обрадовать: она так много любит вас.

– Обрадовать?.. Бог знает! – возразил он, тяжело вздохнув.

– В старые годы вы были к нам доверчивее.

– Простите, я всегда был уверен в милостях вашей маменьки.

«Ага! – сказала сама себе Луиза, в простодушии истинной любви думавшая быть чрезвычайно догадливою. – Он сомневается в моих чувствах. Если б я могла открыть их! Но, может быть, он старается выдумывать препятствия? Неужели он находит удовольствие мучить других? Если таков его нрав, я буду с ним несчастна. Я хотела бы открытую душу мою соединить с такой же душой».

– Я имею поручение к вашей маменьке от человека мне близкого, – продолжал Густав дрожащим голосом, – поручение весьма важное, от которого зависит участь нескольких людей. (Лицо Луизы вспыхнуло от мысли, что он имеет письмо от дяди с напоминанием об утверждении их союза.) – Будьте моею судьбою! Скажите, объяснить ли теперь все, что я имею на сердце?

Она подумала немного, потом спросила в свою очередь:

– Исполнение вашего поручения сделает ли счастливыми всех людей, которых вы разумеете?

– Думаю, только один будет несчастлив. Дай бог, чтобы гроза над ним и обрушилась! Он один виноват.

– Это для меня загадка: я не понимаю вас, господин Траутфеттер! Если и один будет несчастлив, так лучше навсегда отложить сделанное вам поручение, – отвечала Луиза с гордостью и более досадой оскорбленной любви, нежели самолюбия, и, показывая необыкновенное равнодушие, обратила разговор на другой предмет.

«Виноват ли я? – сказал мысленно Густав. – Сама судьба не позволила мне открыться ныне. Впрочем, тем лучше: приготовлю ее понемногу к этому открытию».

И между тем он употребил в остальные часы дня все хитрости сердечного красноречия, чтобы скрыть роковую тайну, помириться с Луизой и приобрести у нее снова то, что он единственно по наружности потерял было. Истинная любовь сколько доверчива, столько незлопаятна: легко заслушивается обольщений, легко прощает оскорбления, лишь бы уверена была, что они происходят от истинной же любви. Луиза старалась забыть непонятные слова жениха своего, приписывая их своенравию сердца, любящего строить препятствия, чтобы усилить в ней привязанность к нему. Так соображала она, основываясь на одном месте из романа, который читала недавно, и на словах девицы Горнгаузен. Гуляя по саду, Луиза нечаянно уронила розу, которая приколотая была у ее груди. Густав поднял цветок, страстно прижал к губам и спрятал в боковой карман, ближе к сердцу. Луиза, казалось, не заметила его движений. По некоторым высотам, в саду рассыпанным, трудно было одному, без помощи посторонней, взойти и сойти. В таком случае Густав подавал Луизе руку, на которую она с удовольствием опиралась и которую несколько минут не оставляла от боязни увлечься вниз тяжестью своего тела. Иногда в упоении любви, будто окаменелые в блаженнейшую минуту их жизни, они останавливались несколько мгновений посреди горы на тесной площадке, на которой едва можно было двум человекам уместиться. Шелковые локоны волос Луизы навевались ветерком на его уста; рука ее млея в его руке, щеки ее горели, глаза останавливались на нем с нежностью и потуплялись от стыда. Это все делала невеста со своим женихом: можно ли ее обвинять?.. По лабиринту песчаниковой пещеры, изрытой в одной из садовых гор, она была его путеводительницей.

– Сюда, сюда, Адольф! – закричала она в одном месте. Роковое имя, произнесенное при нем еще в первый раз с того времени, как он начал посещать Гельмет, заставило его затрепетать. Он забыл все на свете, помнил только ужасное для него имя и запутался еще более в темных извилинах пещеры.

– Сюда! – повторила Луиза ангельским голосом своим, воротилась назад и, схватив его за рукав мундира, спешила вывести на свет. Густав казался смущенным, нездоровым; но один взор нежного участия, на него брошенный, оживил его на то короткое время, которое он оставался в Гельмете.

После этого посещения Густаву представился весь ужас их состояния. Страсть его казалась ему злодеянием. Он видел в себе величайшего преступника, издевающегося над доверчивым чувством милого, невинного творения; знал, что истребить в себе этой страсти было невозможно; но, по крайней мере, твердо решился при первом свидании открыть все Луизе и принести себя в жертву для ее спасения.

Тридцатого мая – это было в последнее посещение духа-искусителя – сидел он вместе с Луизой в садовом гроте. Протекавший мимо них ручей Тарваст нашептывал будто бы пени любви. С ними никого не было. В удалении Адам Бир разбирал интересное растение до последней нити его, как пчела пьет сладость из любимого цветка до последнего его истощения. В восторге, что обогатит свой травник новым сокровищем, и в удивлении к премудрости божией, поместившей себя в таком маленьком творении, он ничего не видел, не слышал около себя, и если б сокрушилось над ним ветхое дерево, под которым он сидел, то не выпустил бы из рук драгоценного найденыша. Домоправительница не показывалась. Она заперлась в своей

спальне, утопая в горьких слезах: кто мог быть несчастнее ее, жертвы мужнина своенравия и властолюбия? Вообразите ее горестное положение: в возражение на словцо, неловко сказанное ее вулканом, она замахнулась на правую его ланиту башмаком, а он? – ах! Боже мой! он – карбонарий, сказали бы в наше время, – не подставил ей еще левой ланиты и вырвал из рук ее башмак! Можно ли снести такую обиду, какой не бывало с тех пор, как она сделалась его нежною половиной и полною обладательницей?.. На девицу Горнгаузен нашел тоже недобрый час: она еще не могла оправиться от чувства ужаса, произведенного в ней поутру видом бабочки, трепетавшей под смертоносным орудием бесчеловечного Бира (так она его называла), который готовил ее для своего энтомологического кладбища. По стечению этих несчастных обстоятельств Луиза и Густав находились одни, сидя в гроте на дерновой скамье. Никогда еще не была она так прелестна; никогда еще не казалась так счастливою. Коварная любовь сама, будто бы нарочно, постаралась убрать ее в лучшие свои наряды, как в древние времена убирали дев, которых вели на жертву к алтарю разгневанного божества. Густав был скучен; она искала рассеять беспокойство его души, для нее непонятное. Глаза ее остановились на одном месте грота и пробежали с удовольствием какую-то надпись, на песчанике вырезанную; потом она спросила его с нежною откровенностью:

– Кто это писал?

Жадными взорами пробежал он надпись, несколько стертую временем, разобрал в ней слова: «Милая Луиза!» – имел еще силу прочесть их вслух, и потом, не отвечая прямо на вопрос ее, примолвил:

– Счастлив смертный, который без страха может выговорить эти слова! Еще счастливее, кто мог слышать ответ!

Луиза ничего не сказала, но взорами, исполненными приветом любви, остановилась на другой надписи. Трепет пробежал по всем его членам; холодный пот выступил на чело, когда он взглянул на роковые слова: «Милый Адольф!»

– Счастлив Адольф! – произнес он замирающим в груди голосом. – Несчастлив тот, кого принимали за Адольфа!

– Я вас не понимаю! – сказала испуганная Луиза. – Что это значит? вы бледны, вы нездоровы? Боже мой, что с вами делается?

Густав упал перед нею на колена.

– Я обманщик! – произнес он с выражением страсти и отчаяния. – Сначала ошибкою служителя и ваших домашних, потом безрассудством, наконец любовью я невольно вовлечен в обман – любовью истинною, бескорыстною, которая может только с жизнью моею кончиться. Нет достойной казни для наказания подобного мне изверга! Кляните, кляните меня: я этого достоин! Я – не Адольф!

– Кто же вы? – спросила Луиза замирающим голосом.

– Густав, двоюродный брат Адольфа.

– Густав! что вы со мною сделали?.. – могла она только произнести, покачав головой, закрыла глаза руками и, не в состоянии перенести удара, поразившего ее так неожиданно, упала без чувств на дерновую скамейку. В исступлении он схватил ее руку: рука была холодна как лед; на лице ее не видно было следа жизни.

– Боже мой! я убил ее! – кричал он как сумасшедший, бегая по саду и ломая себе руки.

На крик этот оглянулся Бир. Если бы мертвецы вставали, крик этот мог бы их поднять. С силою отчаяния Густав сжал его руку и увлек за собою к месту, где лежала его жертва.

– Потихе, потихе! – бормотал с негодованием Бир. – Вы изомнете мою находку. С тех пор как существую, я вижу в первый раз насекомое из рода *Coccinella exclamatoria*.

– Помогите, ради бога, помогите! Я убил ее! Она умрет! – раздавались вопли несчастного.

Тут Адам очнулся и, догадавшись по виду исступления своего товарища, что дело шло не о пустяках, спешил освободиться из железных рук его и спрятать бережно своего найденыша в

камзол. Когда же подошел к Луизе, то, всплеснув жалостно руками и сказав только: «Гм! гм!» – схватил шляпу Густава, почерпнул ею в ручье воды, которою и вспрыснул лицо Луизы; но, заметив, что это средство не помогало, опрометью побежал в дом, как проворный мальчик, вмиг возвратился, сопровождаемый горничною и снабженный разными спиртами, тер Луизе виски, ладони и успел привести ее в чувство.

Она открыла глаза. Первый предмет, ей представившийся, был Густав, бледный как смерть, дрожащий, как преступник.

– Попросите его, чтоб он удалился! – сказала Луиза едва внятным, умоляющим голосом, склонившись на плечо Бира; потом, увидев, что Густав не трогался с места, прибавила, обратившись уж к нему:

– Густав, ради бога, удалитесь.

Здесь она опять закрыла глаза руками, и рыдания заглушили ее слова.

Он обратил на нее помутившиеся взоры, пожал руку Бире и удалился от них. Так бежал из рая первый преступник, гонимый пламенным мечом ангела и гремящим над ним приговором высшего судьи. На повороте дорожки в кусты Густав остановился, еще раз взглянул на Луизу и исчез. В замке отдал он письмо от Адольфа к баронессе первому попавшемуся ему навстречу слуге.

«Что это все значит? – шептал про себя Адам. – Странно! Адольф? Густав? Да, да, помню теперь; он поговаривал мне однажды, что он не Адольф. Я пропустил это мимо ушей: проклятое рассеяние! Впрочем, как знать, что перемена имени могла иметь такие горестные последствия? Да, опять, разве зять Адольф приятнее для баронессы зятя Густава? Не лучше ли отдать дочь свою за Густава, которого дочь любит, нежели за Адольфа, которого она забыла даже в лицо? Гм, гм! не все равно для баронессы!.. Торговое, проклятое обязательство! Нужда в деньгах... тщеславие!» – Так, рассуждая сам с собою, Бир вел, с помощью горничной, или, лучше сказать, нес домой несчастную свою воспитанницу. Девушка Горнгаузен, встретив печальную процессию, сначала перепугалась; но, сообразив состояние, в котором находилась Луиза, со внезапным отъездом Траутфеттера, успокоила себя мыслию, что между ними начинается истинная любовь, на препятствиях основанная.

– Я это предвидела, – шепнула она на ухо Адаму, – истинная страсть не существует без...

Бир прервал ее речь таким сердитым восклицанием, что вмиг рассеялись все романтические выводы, скопившиеся в голове ее и готовые осадить Адама. Так пробившееся из окна пламя вдруг охвачено искусным ударом воды из трубы пожарной. Только что управился он с огненным явлением из теремка, другая вспышка пробилась из трехэтажного корпуса домоправительницы, которая запела на всегдашний, постоянный тон свой:

– Что с вами сделалось, милая, драгоценная фрейлейн Зегевольд?

Адам молчал, стиснув зубами свою досаду.

– Не спрашивайте меня, – отвечала едва внятно Луиза, поведя рукою по лбу, – я хочу думать, что это был сон, ужасный сон! Мне очень тяжело... голова моя горит...

Луизу спешили положить в постель, так сделалась она слаба. Стыд, что она обращалась с Густавом как с женихом и что все домашние это видели; любовь к нему, несмотря на перемену обстоятельств, и известность, что она не может ему принадлежать, – все это сделало вдруг во всем ее составе сильное потрясение, которого она не могла перенести. На следующий день она слегла в постель. Отправили нарочных в Пернов за баронессою и к медику Блументросту. Приехала первая и, прочитав письмо от Адольфа, оставленное Густавом, тотчас объяснила себе причину болезни своей дочери. Еще более разрешились догадки баронессы собственными словами Луизы, вырывавшимися у нее по временам в бреду горячки. Тут вся тайна сердца ее обнаружилась.

– Густав!.. Густав!.. – говорила она, устремив на какой-то предмет глаза, исполненные помешательства. – Зачем ты обманывал меня? зачем в первый день не открыл своего имени?..

Теперь уж поздно, поздно!.. Я невольница! я продана!.. Меня терзают за то, что я тебя любила: почему ж не любить мне жениха?.. Как я была счастлива!.. Спросите его, зачем он стоит передо мною и манит меня сойти в какую-то бездну?.. Бедный! он думает, что мы сходим с холма... он взглянул еще на меня! Боже! Этот взгляд жжет меня... Прощай, мой... нет, не Адольф, Густав! уж конечно, Густав! Он хочет броситься в пропасть. Пстой... и я за тобою. Вместе... вечно вместе!

Домашние проливали слезы, слушая эту ужасную исповедь сердца доселе скромной, стыдливой девушки, которая в состоянии здравого рассудка предпочла бы смерть, чем сказать при стольких свидетелях половину того, что она произнесла в помешательстве ума. Казалось, мать ее сама поколебалась этим зрелищем и показала знаки сильнейшей горести; но это состояние души ее было мгновенное. Она старалась прийти в себя и устыдилась своей слабости – так называла она дань, которую заплатила природе.

– Прежде чем я мать, я Зегевольд! – сказала она, показывая в себе дух спартанки. – Скорей соглашусь видеть мою дочь мертвою, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскорбившего. Обязанности мои выше любви, которая пройдет с бредом горячки. Явится Адольф, и все забудется. Луиза дочь баронессы Зегевольд – прикажу, и она, узнав свое заблуждение, отдаст руку тому, кто один может составить ее счастье! Не так ли, Никласзон?

Секретарь, к которому обращалась эта речь, с ужимкою всепокорнейшего слуги, не замедлил согласиться, что все это было и будет пустячками, что первый пароксизм сердечный хотя и силен, но пройдет, лишь бы фрейлейн Зегевольд выздоровела, и что сама судьба, конечно, постарается исполнить благородные, высокие планы баронессы. Досаду и гнев свой она поспешила излить на домашних. Слуга, прибежавший первым с повесткою о приезде мнимого Адольфа, и старый дворецкий, удостоиваемый почетного имени кастеляна, так громогласно возвестивший о женихе, были сосланы в ближайшую деревню в должности пастуха и скотника; домоправительнице не позволено было несколько недель показываться на глаза своей повелительнице, а девице Горнгаузен сделан такой выговор, что истерика и спазмы принимались мучить ее в несколько приемов. На Бира, в уважение его чудного, рассеянного характера, только что косились, как Наполеон на крепость Грауденц, оставшуюся невредимою среди всеобщего завоевания и разрушения.

Приехал доктор Блументрост. От искусства его ожидали многого, а он возлагал все свое упование на бога и на силу природы, которой обещался помогать по возможности своей. Ожидали с надеждою и страхом назначенного им перелома болезни. В эти-то часы ожидания в замке и в хижинах поселян все было полно любви к Луизе: мысль потерять ее усиливала еще эти чувства.

– О Иуммаль, о Иуммаль! [О боже! – Иуммаль, во времена идолопоклонства латышей, был верховным их божеством] – молились в простоте сердца подданные баронессы. – Смилуйся над нашею молодою госпожой. Если нужно тебе кого-нибудь, то возьми лучшее дитя наше от сосца матери, любого сына от сохи его отца, но сохрани нашу общую мать.

Глава одиннадцатая

Вести

Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.

Пушкин

Что делалось в это время с Густавом? Когда он выехал из Гельмета, совсем в противную сторону, куда ему ехать надлежало, и когда опустился за ним подъемный мост, ему представилось, что с неба упала между ним и Луизой вечная преграда. Сердце его раздиралось любовью, раскаянием, чувством унижения, мыслию, что та, которая была для него всего дороже на свете, почитает его гнусным обманщиком, что он оскорбил ее и возмутил ее жизнь, доселе беззаботную и счастливую. Дорого безрассудный платил за несколько дней блаженства. Приехав на мызу, где квартировал, с ужасом вошел он в свое жилище: ему представилось, что все предметы, его окружавшие, дико озирали его, что служители смотрели на него пасмурно, исполняли его приказания неохотно.

«Все отвращается от меня, как от убийцы!» – думал он. Страшно было ему взглянуть в себя, еще страшнее – обратиться в прошедшее.

Через два дня слуга вручил ему письмо от баронессы Зегевольд. Не успел он еще распечатать его, как уж сердце отгадало его содержание. Вот что писали к нему:

"Милостивый государь!..

Вы, конечно, почли дом мой домом зрелищ, где позволены всякого рода превращения и терпимы оборотни: долгом почитаю вывести вас из заблуждения, с тем, чтобы просить вас покорно в него никогда не заглядывать, даже без личины и под настоящим именем. Остаюсь... и проч."

Густав, скрепив сердце, отвечал со всем уважением, должным матери Луизы, что он, хотя чувствует себя виноватым, но не заслуживает оскорбительных выражений, которыми его осыпали; что он обстоятельствами и любовью вовлечен был в обман и что если любить добродетель в образе ее дочери есть преступление, то он почитает себя величайшим преступником. Он просил, по крайней мере, не полагать в нем тех низких чувств, которых он не имел, и при-совокуплял, что молит бога доставить ему случай доказать матери Луизы, хотя бы ценою его жизни, всю беспредельность его уважения и преданности к ее фамилии.

Через несколько дней принесли к нему письмо от Фюренгофа. «От дяди, – подумал Густав, разрывая печать. – Недаром начинает со мною родственные сношения тот, который навсегда было прервал все связи с сыном сестры, ненавистной ему». Содержание этого письма было следующее:

"Государь мой!..

Мы давно друг другу чужие: сын Эрнестины был мне всегда таков. В противном случае я сказал бы как племяннику, что вы гнусным поступком своим ввергли благородное семейство в горестное состояние, отняли у матери дочь, у брата вашего жену и у дяди лучшие его надежды. Теперь не наше дело вам об этом говорить. Оставим карать вас божьему суду и совести вашей, если вы не совсем ее потеряли. Другое важнейшее дело понуждает меня писать к вам. Мать ваша заграбила у меня в 1685 году три гака земли, смежных с..."

При чтении этих строк глаза Густава встретили ниже слова: «нищая... сумасбродная... процесс... суд». Далее он не мог читать.

– Скажи, – вскричал он дрожащим от гнева голосом, обратясь к служителю своего дяди, – скажи пославшему тебя, что если б он не был братом моей матери... Нет, лучше не говори ему

этого. Ответ мой: пусть владеет он теми гаками, которые почитает своими; все бумаги, присланные им для утверждения его прав на этот клочок земли, будут скреплены мною. Спроси, не осталось ли чего из имения Траутфеттера, что бы я мог уступить ему: все отдам без суда, которым он грозит мне. Но вместе с этим скажи ему, чтобы он берегся шевелить прах моей матери. В противном случае сын оскорбленной Эрнестины может забыть, что оскорбитель – дядя. – Выговоря это, Густав изорвал в клочки письмо и присовокупил посланному: – Ступай! другого ответа не будет.

Судьба, как бы нарочно, устроила летучую почту для нанесения Густаву жестоких ударов, одного за другим. Не успел он еще образумиться от дядиной цидулки, как вручили ему письмо из армии, именно от Адольфа.

"Получив твое послание [письма этого мы не могли отыскать в фамильных бумагах Траутфеттера], любезный брат и друг, – писал он к нему, – я от всего сердца посмеялся ошибке, доставившей тебе особенно ласковый прием от моей невесты и домочадцев гельметских. Пробыл я заклад, но все-таки с честью для себя. Каков же твой двоюродный братец! Не только собственною персоной, он даже именем своим оковывает сердца прелестных и творит любовные чудеса! В Польше лично веду атаки и побеждаю; а в Лифляндии хлопочет за меня услужливый Сози мой. Виват Адольф Траутфеттер! Жаль, что на время этих проказ я не на твоём месте, а ты не на моем: я провел бы тогда подкоп, и черт меня возьми, если б я не взорвал на воздух все обязательства расчетливых маменек и дядюшек! Но ты... с твоим холодным, нерешительным характером, ты разом струсишь и откроешься. Ты пишешь, что Луиза прелестна. Верю, потому что она и одиннадцати лет была премиленькая девочка. И теперь еще, как два фонарика, светятся передо мною ее глазки, преумильно поглядывают на меня и дядюшкино чищенное золотце, которому надеюсь, со временем, еще лучше протереть глаза. Но все эти прелести ничто перед милою, дивно милою полечкою. Имени ее не скажу: оно заветное. Ах, любезный Густав! я влюблен, и влюблен не на шутку. Если б ты видел ножку ее!.. Ну, право, три таких улягутся в одном башмаке наших лифляндских стряпух и экономок: от одной ножки можно с ума сойти; суди же обо всем прочем! Ты смеешься постоянству моей новой любви, Фома неверный? Божусь тебе, я страх переменялся в два месяца; ты меня не узнаешь теперь. Страсть моя так сильна, так искренна, что я почитаю ее предвестием ужасного кризиса в моей жизни: или я должен буду скоро ехать в Лифляндию, куда меня выпишут, чтобы женить на твоей Луизе и дядюшкином миллионе (здесь уж об этом хлопотала патриотка); или меня убьют в первом сражении. Не перед добром мое постоянство – разумею, в любви. Тебе хорошо известно, что дружба и честь никогда не знавали меня ветреником. Отпиши мне поскорее об успехе твоих дальнейших посещений: берегись слишком скоро отступить от трофеев, дарованных тебе волшебным, всепобеждающим имечком Адольфа; помни, что ты не Август и перед тобой нет Карла XII. Верь, что ты имеешь во мне самого терпеливого соперника. Кстати, обрадуй патриотку прилагаемым у сего письмом к ней от Пипера, министра его величества, короля шведского. Посылая это письмо, чувствую, что у меня сердце не на месте; не заключается ли уж в нем обещания выслать меня в бедный Шлиппенбахов корпус? Предчувствую, что мне теперь не удастся подменить себя двоюродным братцем, как я сделал это при отправлении тебя в Лифляндию. Надо признаться тебе, во всем этом я виноват, а как я это смастерил, при случае тебе расскажу. И без того мое письмо длинно, как нос твоего нынешнего начальника после Нового года.

Твой брат и друг Адольф Т."

Немедленно послал Густав письмо Пипера по адресу, приказав своему слуге поосторожнее разведать, что делалось в замке. Письмо приняли; но как всем жителям Гельмета приказано было молчать насчет семейных дел баронессы, то посланный мог узнать только, что фрейлейн нездорова. Эта весть еще более растравила сердечную рану Густава. На следующий день, только что начало светать, он вскочил с постели, спешил одеться и выйти из деревни с твер-

дым намерением во что бы ни стало приблизиться к замку и узнать, от кого бы то ни было, о состоянии больной. Углубленный в задумчивость, потупив глаза в землю, шел он по дороге в Гельмет. Сельские девки, гнавшие скотину в поле, с боязнью глядели на угрюмого шведа и старались подалее обойти его. Крестьянин, ехавший со своею сохою на пашню, распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку:

У кого такая милочка,
Как у братца моего?
Сука моет у него посуду,
Козы полют огород.

Но, заметив синий мундир, стал в тупик и, проворчав Густаву свое обычное: «Терре омикуст» [Доброе утро], – спешил обогнать постояльца, который не только не кивнул ему, но, казалось, так ужасно на него посмотрел, как бы хотел его съесть. Густаву было не до приветов людей, чуждых ему: одна в мире занимала его мысли и сердце. Он прошел уже более половины пути до Гельмета, как вдруг кто-то назвал его по имени.

– Куда так рано, господин оберст-вахтмейстер? – сказал ехавший верхом навстречу ему, сняв униженно шляпу и приостановив бойкого рыжего конька.

Густав приподнял голову и увидел перед собой того самого служителя баронессина, который в первое его посещение замка вызвался держать его лошадь и которого умел он отличить от других дворовых людей, заметив в нем необыкновенное к себе усердие. Несчастный обрадовался неожиданной встрече, как утопающий спасительному дереву, мимо его плывущему.

– Ах! это ты, Фриц? – сказал Густав. – Прекрасное утро выманило меня прогуляться, и я нечаянно очутился на этой дороге. Накройся, старик, на дворе еще свеженько.

Фриц с некоторым принуждением надел шляпу, лукаво посмотрел на молодого офицера, слез с лошади и примолвил:

– Видно, я объезжал своего коня, а вы своего, господин оберст-вахтмейстер! Иной подумает, что я к вашей милости, а вы к моей. (Тут конюх тяжело вздохнул.) Куда ж прикажете мне за вами следовать? Между бездельем я хотел сказать вам и дело.

– А какое бы? – спросил Густав с видом нетерпения и между тем, сделав несколько шагов вперед, невольно заставил Фрица следовать за собой по дороге к замку.

– Вот изволите видеть, во-первых, вы командуете эскадроном драгун?

– Так.

– Во-вторых, говорят, ваш коновал отправился на тот свет лечить лошадей. Покуда сыщется другой (Фриц снял опять шляпу, почесал себе пальцем по шее и униженно поклонился), – ге, ге, ваш преданнейший и всеусерднейший слуга, великий конюший двора ее светлости, баронессы Зегевольд, осмеливается предложить вам... ге, ге...

– Свои услуги, не так ли?

– Малую толику, господин оберст-вахтмейстер! За меня поручится вся округа, что я залечиваю менее четвероногих, нежели иной свою братью двуногую.

– Верю, верю и охотно принимаю тебя в свою команду врачом, и ныне же готов велеть показать тебе всех четвероногих пациентов; но баронесса...

– Понимаю: будет гневаться, думаете вы, что я посещаю вашу квартиру и, может быть, выношу сор из ее палат?

– Справедливо.

– Не беспокойтесь! Я не дворовая собака, которую она вольна держать на привязи: служу свободно, пока меня кормят и ласкают; не так – при первом толчке ногой могу показать и хвост, то есть, хочу сказать, что я не крепостной слуга баронессин. К тому ж, нанимаясь к ней в кучера и коновалы, я условился с ее милостью, чтобы мне позволено было заниматься

практикою в окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне дадите хлебец и по другим эскадронам. В плате ж за труды...

– Конечно, не будешь обижен. С этого часа ты наш.

– Ваш и телом и душой.

– И совестью коновальской, не правда ли?

– Для вас не помучу ее; но когда бы пришлось иметь дело, например, с вашим дядюшкой, не счел бы за грех обмануть его.

– Почему ж нравится тебе племянник более дяди?

– Об этом скажу вам после, когда созреет яблочко, посаженное семечком в доброй земле.

– Припевом этим не ты один прельщаешь. Мне кажется, что ты сказочник.

– Мои сказки, не так как у иных, длятся тысячу и одну ночь, – того и смотри, как сон в руку. Нет, я скорей отгадчик. Давно известно, что мельник и коновал ученики нечистого. Вот, например, с позволения вашего молвить, господин оберст-вахтмейстер, я знаю, зачем вы идете по этой дороге со мною.

– А зачем бы?

– Вам хотелось бы узнать от верного человечка, что делается с тою, ге, ге, которую вы любите.

– Кого я люблю? Кто дал тебе право судить о моих чувствах?

– Желание вам добра. Коли вы обижаетесь слышать то, о чем вы хотели бы меня спросить и зачем вы шли по этой дороге, так я буду молчать. А я было спросту думал подарить вас еще в прибавок тем, в чем вы нуждаетесь, – именно утешением и надеждою. Извините меня, господин оберст-вахтмейстер! (Здесь Фриц поклонился.)

– Утешением? говори ж скорее, дух-искуситель! что делает Луиза?

– Потихе, потихе, господин! Такие вещи не получаются даром.

– Требуй все, что имею.

– Вы не заплатите мне тем, чем разумеете. Когда я дарю вас вещью, которых у вас нет, следственно, я покуда богаче вас. Коных баронессы Зегевольд чудак: его не расшевелият даже миллионы вашего дяди; золото кажется ему щепками, когда оно не в пользу ближнего. Фриц с козел смотрит иногда не только глазами, но и сердцем выше иных господ, которые сидят на первых местах в колымаге, – буди не к вашей чести сказано.

– Чего ж ты хочешь от меня?

– Безделицы! Поменяться со мною обещаниями.

– Что ж должен я обещать?

– Во-первых, молчать, о чем я буду сказывать вам за тайну ныне и впредь; во-вторых, выполнить при случае, о чем я вас прошу, и, в-третьих, все это утвердить честным вашим словом.

Густав подумал: «О чем может просить меня кучер баронессы, что б не было согласно с моими обязанностями, с моими собственными желаниями?» – подумал, посоветовался с сердцем и сказал:

– Честное слово Густава Траутфеттера, что я выполню требования твои. Говори ж, ради создателя, что делает Луиза?

– Что она делает? С тех пор, как вы скрылись из замка, она слегла...

– Боже мой!

– Не пугайтесь и помните о том, что я вам обещал. Она слегла в постель. Не скрою от вас, она больна, очень больна.

– Несчастный! что я говорю: несчастный? – изверг, я убил ее!

– Вчера я видел лекаря Блументроста.

– Что ж он говорит?

– Когда я спросил его, каково нашей молодой госпоже, он шепнул мне: «бог милостив!» Это слово великое, господин! Он не употребляет его даром. «Послезавтра, – прибавил он, – перелом болезни, и тогда мы увидим, что можно будет вернее сказать». – «А теперь?» – спросил я его. «Теперь, по мнению моему, есть надежда», – отвечал он.

Густав остановился, стал на колени, сложил руки и молился:

– Боже милосердый, спаси ее! Ни о чем другом не молю тебя: спаси ее! Всемогущий отец! сохрани свое лучшее творение на земле и разбей сосуд, из которого подана ей отравка.

– Встаньте, господин оберст-вахтмейстер его королевского величества, крестьяне, работающие в поле, сочтут вас помешанным – не во гнев буди вам сказано.

– Даю тебе право говорить, что хочешь, – сказал Густав, вставая. – Точно, я обезумел.

– Легче ли вам теперь?

– Фриц, друг мой, ты воскрешаешь меня.

– Вот утешенье, которое я обещал вам. Теперь поговоримте о надежде, которую я хотел вам наворочить. Во-первых, скажу: отчаяние – величайший из грехов. Я не пастор, а разумею кое-что. Худо вы сделали; но кто поручится, чтобы не сделал того ж другой молодец на вашем месте, с огнем вместо крови, как у вас? Кто знает, бароны и баронессы рассчитывали по-своему, а тот, кто выше не только их, но и короля шведского, который щелкает по носам других корольков (здесь Фриц скинул шляпу и поднял с благоговением глаза к небу), тот, может быть, рассчитал иначе. Еще скажу: дело не о прошедшем – его воротить нельзя, – а о будущем, которое можно предугадать и поправить.

– Особенно вам, коновалам-колдунам!

– Да, и наша милость будет тут стряпать. Завтра бог откроет нам свое определение. Если он окажет милости свои, то...

– Молю бога об одной жизни ее.

– Для меня этого мало: я хочу устроить судьбу вашу.

– Ты? опомнись, Фриц!

– С помощью добрых людей.

– Вероятно, дворецкого, камердинера и прочей честной компании.

– А хотя бы и так? Разве вы отказались бы от сокровища, которому цены не знаете, если бы помог вам найти его бедный челядинец? Может статься, на этот раз усердный холоп передал бы его господину майору белоручке, надев перчатки на свои запачканные руки, чистившие коней.

– Ты не знаешь меня, Фриц! я обнял бы этого челядинца, как брата, хотя бы он был чернее трубочиста. Но к чему твоя сказка?

– К делу. Дочь баронессы Зегевольд будет женою того Траутфеттера, которого она любит, а не того, за кого хотят ее выдать насильно мать и дрянной старичишка.

– Вспомни, Фриц, что он дядя мой.

– Помню, что он обманщик, тать, разбойник. (При этих словах глаза и лицо Фрица разгорелись; также и Густав вспыхнул.)

– Ты с ума сошел!

– Нет, господин оберст-вахтмейстер! я говорю в полном уме. Когда б вы знали, что этот человек наделал моему семейству; когда б вы знали, что он похититель вашей собственности!

– Он владеет тем, что следовало ему по законам.

– По законам? по законам? (Фриц с горькою усмешкою покачал головой.) Разве адским! Вы, племянник его, ничего не знаете; я, конюх баронессы Зегевольд, знаю все, и все так верно, как свят бог! У вас отнято имение; у вас отнимают ту, которую вы любите: то и другое будет ваше с помощью вышнего.

– Ты призываешь бога во свидетели?..

– Не грешно призывать его в деле правом. Давно есть у вас стряпчий, и вы должник его. Без ведома вашего, не желая от вас награды, трудится он для вас.

– Кто такой?

– Он! Более не скажу словечка; теперь нет ему имени. По приказу его поджидал я вас на нашу сторонку с нетерпением. Вспомните слова мои, когда вы в первый раз к нам пожаловали и когда я дрожащею рукой брал вашу лошадь за повод.

– Как теперь помню, ты сказал мне: «Добро пожаловать, гость желанный!»

– Так точно. Слова эти выговорили не губы мои, а сердце. Я знал тогда ж, что вы не Адольф, а Густав, и молчал.

– Зачем же не открыл ты в замке моего имени?

– Так приказал мне он.

– Странно, чудесно, невероятно!

– Скажу вам яснее: вы меня знавали; я держал вас маленьким на коленях; вы знавали его. Если вы разгадаете его имя, не сказывайте мне: я об этом вас прошу вследствие нашего уговора. По тому ж условию требую от вас, в случае, если б он, благодетель ваш, ваш стряпчий, попал в несчастье из беды и если б вы, узнав его, могли спасти...

– Право, смешно; однако ж даю слово выручить при случае моего названного благодетеля.

– Чтобы в делах наших было поболее чудесностей, скажу вам еще, что вы не иначе получите отнятое у вас имение и вашу Луизу, как посредством чухонском девки и русских, и то не прежде, как все они побывают в Рингене.

– Что за вздор ты городишь? Чухонские девки! Русские! Ринген! Далека песня!.. Только этой присказки не доставало в твоей сказке. А я, глупец, развесил уши и слушаю твои выдумки, будто дело! По крайней мере благодарен тебе за утешение.

– Помяните мои слова... но вот, мы чуть не наткнулись на Гельмет. Могут нас заметить, пересказать баронессе, и тогда – поклон всем надеждам! Прощайте, господин оберст-вахтмейстер! Помните, что вам назначено сокровище, которое теперь скрывается за этой зеленой занавесью... Видите ли открытое угольное окошко? на нем стоит горшок с розами... видите? – это спальня вашей Луизы.

– Моей!.. Боже мой!.. в каком она теперь состоянии?.. Я положил это прекрасное творение на смертный одр, сколотил ей усердно, своими руками, гроб, и я же, безумный, могу говорить об утешении, могу надеяться, как человек правдивый, благородный, достойный чести, достойный любви ее! Чем мог я купить эту надежду? Разве злодейским обманом! Не новым ли дополнить хочу прекрасное начало? Она умирает, а я, злодей, могу думать о счастье!.. Завтра, сказал ты, Фриц...

– Завтра перелом ее болезни, говорил мне лекарь.

– Фриц, друг мой! об одной услуге молю тебя.

– Приказывайте.

– Могу ли завтра?.. Назначь место, час, где бы с тобою видеться.

– Извольте; я уж об этом думал. Вечерком, когда солнышко будет садиться, выйдите из своей квартиры. От гелметской кирки поверните вправо, к погосту; чай, вы покойников не боитесь? Пройдя мимо их келий, ступайте целиком к старому вязу, что стоит с тремя соснами, на дороге из Гуммельсгофа: тут есть камушек вместо скамьи; можете на нем отдохнуть и дожидаться меня. Да чур, быть осторожнее! Не погубите себя и меня. Слышите? собаки на дворе почуяли вас; люди начали везде копошиться. Воротитесь скорее домой и уповайте на бога. Прощайте!

Фриц, выговоря это, вспрыгнул на своего рыжaka и скоро исчез из глаз Густава. Неугомонный лай собаки, все сильнее возвещавший о приближении к замку незнакомца, заставил Густава удалиться поспешнее, нежели он желал.

На следующий день, перед закатом солнца, выехал он на чухонской тележке с одним верным служителем из своей квартиры, переделся в крестьянское платье у гильметской кирки, где оставил своего провожатого, нахлобучил круглую шляпу на глаза и побрел к назначенному месту, как человек, идущий на воровство. Измученный скорою ходьбою и чувствами, раздиравшими его душу, он остановился у ограды кладбища, чтобы перевести дыхание. Последние лучи солнца одевали розовым отливом белые пирамидальные памятники. Ему чудилось, что усопшие в праздничных саванах вышли из могил навстречу новой своей гостье. «Может быть, в самую эту минуту она умирает!» – подумал он, и сердце его стеснилось в груди. «Мечта расстроенного воображения! – прибавил он потом, стараясь призвать на помощь все присутствие рассудка. – Доктор сказал, что есть надежда».

Медленно, ходом черепахи шел он, желая, чтобы тень сумрака перегнала его до места назначения. Вскоре, к досаде его, послышались ему голоса человеческие. Проклиная эту помеху, он осторожно дополз до можжевельных кустов, шагах в двадцати от того места, откуда был слышен разговор, спрятался за кустами так, что не мог быть примечен с этой стороны, но сам имел возможность высмотреть все, что в ней происходило. Под такую защитой он увидел, при свете восходящего месяца, что под вязом, где назначено ему было дожидаться Фрица, сидели две женщины, спинами к нему, на большом диком камне, вросшем в землю и огороженном тремя молодыми соснами. Род пестрых мантий, сшитых из лоскутков, покрывали их плеча; головы их были обвиты холстиною, от которой топорщились по сторонам концы, как растянутые крылья летучей мыши; из-под этой повязки торчали в беспорядке клочки седых с рыжиною волос, которые ветерок шевелил по временам. Одна из них – может быть, услышав шорох, – оглянулась назад. Страшны были ее кошачьи глаза, прыгавшие между двумя кровавыми полосами, означавшими места, где были некогда ресницы; желтое лицо ее было стянуто, как кулак; по временам страшно подергивало его. Густав спешил отворотиться от этого безобразного явления. Грубый голос старух походил на сиповатое карканье старого, больного ворона. По-видимому, они кого-то поджидали из замка, потому что часто протягивали шеи в ту сторону. Из разговора их некоторые слова долетали до слуха Густава.

– Долго нейдет наш Мартышка, – говорила одна.

– Чай, заповесничался с дворовыми ребятами, – примолвила другая.

– Сорванец! негодяй! да какого добра ждать от подкидыша? Пойдет, видно, по батюшке: хорошие кусочки себе, оглодышки – другим.

– Поверишь ли, мать моя, сызмала на деньги не надышит; умеет уж хоронить их не хуже сороки. Сухари то и дело тащит беззубой старухе, а шелег чтобы принес, этого греха с ним не бывало.

– Запропастился, окаянный! Видно, лижет сковороды на кухне. До съестного ли теперь? Умрет... так получше что достанется... (Здесь ветер перехватил слова разговаривавших.) Дура, дура! что тебе в шелковом?... Разве грешным костям на покрышу? Нам с тобой лоскут холста да четыре доски: ляжем в них не хуже королевы или баронессы. Статочное ли дело беречь для себя? (Ветер опять помешал Густаву слышать некоторые слова.) Молвят, что барышня от него-то и слегла в постель. Выдавал он себя, невесть как, за племянника, ну, того скупого хрыча – ведашь, Мартышкина отца, чтоб ему ни пути, ни дороги, ни дна, ни места!

– Знаю, знаю, Фиргофа; провалиться бы ему в преисподнюю!

– Племянник этот стоворен за барышню. Ждали его; приехал он, а был не он, шведский офицер, чернокнижник: надел на себя харю жениха и давай отводить глаза у невесты и у всех холопов. Барышне показался он таким пригожим, добрым, ласковым, ну так, что она, сердечная, умирала по нем. Раз хотела она поцеловать его, а у него и выставься из тупея два рожка. С того, дескать, часу бедняжке попритчилось, не в нашу меру буди сказано. Молодешенька была душа моя, пригожа, наподобие цветка макова, разумна, как скворушка. Подкосил цвет злой косец, запрятал ловец пташку в клетку вечную.

– Дай бог ей царство небесное, а нам что-нибудь на помин ее души!

Можно судить, что чувствовал Густав во время этого разговора: кровь начинала останавливаться в жилах, дыхание захватывало в груди. Он хотел встать и разогнать эту адскую беседу; но, услышав топот бегущего мальчика, решил еще остаться на прежнем месте.

– Вот и Мартышка бежит! – сказала одна старуха, привстав с камня. – Какие-то вести несет нам пострел? Бежит что-то весело.

– Видно, отдала богу душу! – отвечала другая со вздохом.

Посланник их, мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, не спешил удовлетворить желание ожидавших его и, медленно приближаясь к ним, казалось, старался их поддразнить: то кривлялся, как фигляр, то маршировал, как солдат, то скакал на одной ноге влево и вправо.

– Говори, бесенок! – закричала одна из старух, замахнувшись на него костылем. – Не то пришибу тебя этою указкой. Жива, что ли, еще, аль умерла?

Мальчик, поравнявшись почти со старухами, начал качать головою и припевать жалобным голосом:

– Упокой душу рабы твоея! упокой душу...

Густав более ничего не слышал; все кругом его завертелось. Он силился закричать, но голос замер на холодных его губах; он привстал, хотел идти – ноги подкосились; он упал – и пополз на четвереньках, жадно цепляясь за траву и захватывая горстями землю.

Старухи и мальчик, увидев в сумраке что-тодвигающееся, от страха почли его за привидение или зверя и, что было мочи, побежали в противную от замка сторону. Отчаяние придало Густаву силы, он привстал и, шатаясь, сам не зная, что делает, побрел прямо в замок. На дворе все было тихо. Он прошел его, взошел на первую и вторую ступень террасы, с трудом поставил ногу на третью – здесь силы совершенно оставили его, и он покатился вниз...

Ни одного живого существа не было в этой стороне, да и в доме все было тихо, как бы все обитатели его спали мертвым сном. Вскоре началось тихое движение. Служители шепотом передавали один другому весть, по-видимому приятную; улыбка показалась на всех лицах, доселе мрачных: иные плакали, но видно было, что слезы их лились от радости.

Наконец Фриц потихоньку отворил дверь на террасу и начал сходить с нее. Свет из окон нижнего этажа освещал ему путь. Озираясь из предосторожности, он увидел человека, распростертого на земле и головой поникнувшего на последнюю ступень. Кровь струилась по его лицу. Добрый конюший, спешивший с радостною вестью к месту свидания, какою горестью поражен был, узнав в несчастном Густава! Он ощупал пульс его; пульс едва бился. Звать людей на помощь было невозможно; открыться медику – опасно. Наконец блеснула в голове его мысль о доброте души библиотекаря. К утешению его, в первой комнате нижнего этажа встретил он Адама, который прохаживался по ней мерными шагами, углублен будучи в размышления о суетах мирских. Фриц схватил его за руку. Адам оглянулся.

– Человек погибает! – быстро произнес конюх. – Спасите его.

– Куда? что надобно? – воскликнул Бир.

– Тише! Есть ли с вами ланцет и бинты?

– Ты знаешь, что они всегда при мне.

– Идем! – сказал Фриц, достал где-то фонарь и увлек за собою Бира на то место, где лежал Густав. – Видите ли этого человека? Помогите мне встать его на плеча ко мне: хорошо, так; ступайте за мной; придерживайте его дорогою, чтобы он не свалился.

Так распоряжался Фриц, и покорный ему библиотекарь с особенным усердием выполнял его волю. В поле, при свете фонаря, последний пустил страдальцу кровь. Бир узнал Густава, и как скоро этот начал приходить в себя, он удалился, потушив фонарь.

Густав открыл глаза, остановил их на Фрице, посмотрел кругом себя и не мог придумать, где он находился.

– Не вовремя вздумали умирать! – сказал добрый конюх, стараясь понемногу ободрить больного. – Я нес вам приятные вести, а вы хотели сами приступом взять их.

– Приятные вести? – спросил Густав, приподнимаясь на одну руку, не понимая, почему другая не повиновалась. – Ах! я слышал такие ужасные, не понимаю где, во сне или наяву? Ради бога, говори!

– Потихше, повторяю вам, потихше. Видите ли кровь? я принужден был пустить вам ее. Теперь вы в моей команде, волей или неволей, прошу не прогневаться. Спокойны ли вы?

– Да, я спокоен!

– Теперь могу передать вам радостную весть: фрейлейн Зегевольд будет жива; перелом болезни миновался, и лекарь отвечает за ее выздоровление.

– Правда ли? Не стараешься ли меня утешить обманом?

– Верьте не мне, богу.

– Отец милосердый! – воскликнул Густав, подняв к небу глаза, полные слез. – Благость твоя неизреченна. Ты хранишь невинность и милуешь преступление.

Он схватил руку благодетельного конюха и, сколько сил у него доставало, сжал ее в своей руке; потом с отдыхами рассказал, что с ним случилось в этот ужасный для него вечер.

– Старые колдуньи! – вскричал в ужасной досаде Фриц, выслушав рассказ своего пациента. – Я отучу их собираться на поминки к живым людям. А этот бесенок, из одного сатанинского с ними гнезда, напляшется досыта под мои цимбалы! Однако ж, пока им достанется от меня, надобно подумать, как дотащить вас до кирки.

– Видно, радости не убивают, – сказал Густав, – я чувствую себя лучше и готов следовать за тобою...

Благополучно, хотя не без труда, добрались они до кирки, где дожидался слуга, начинавший уже беспокоиться, что господин его замешкался. Здесь почерпнули из родника воды в согнутое поле шляпы и дали выпить Густаву, ослабевшему от ходьбы. Прощаясь с Фрицем, он обнял его и просил закончить свое благодеяние, давая ему знать о том, что делается в замке. Фриц обещал и сдержал свое слово.

После этого происшествия нередко прилетал он на любимом рыжаке своем в Оверлак и каждый раз привозил с собою более и более утешительные вести: «Фрейлейн Зегевольд лучше; фрейлейн Зегевольд сидит на креслах, ходит по комнате, порядочно кушать начинает», – и так далее, согласно с успехами ее здоровья. Наконец вестник уведомил Густава, что, кроме бледности, заменившей на лице ее прежний румянец, и грусти, в ней прежде незаметной, никаких следов от болезни ее не оставалось. Мысль, что Луиза здорова, успокаивала Густава, и хотя она подавляема была нередко другою горестною мыслью о безнадежности любви своей, но вскоре приобретала вновь свое прежнее утешительное влияние. «Она забудет меня, – думал Траутфеттер, – но, по крайней мере, будет счастлива, сделав счастье Адольфа». С другой стороны, добрый, но не менее лукавый Фриц, привозя ему известия из замка и прикрепляя каждый день новое кольцо в цепи его надежды, сделался необходимым его собеседником и утешителем; пользуясь нередкими посещениями своими, узнавал о числе и состоянии шведских войск, расположенных по разным окружным деревням и замкам; познакомившись со многими офицерами, забавлял их своими проказами, рассказывал им были и небылицы, лечил лошадей и между тем делал свое дело. Так прошел с небольшим месяц. Однажды – это было в первых числах июля – Фриц уведомил Густава, что он отправляется в Мариенбург за пастором Гликом и воспитанницей его, девицею Рабе, лучшею приятельницей Луизы. Он прибавлял, что скоро наступит день рожденья последней, что ко дню этому делаются большие приготовления в замке и что со всех концов Лифляндии должны съехаться в него сотни гостей: баронов, военных, профессоров, судей, купцов и студентов; а может быть, и тысячи их соберутся, прибавлял он с коварною усмешкой.

– Я один не буду там, – сказал, вздохнув, Густав и между тем просил Фрица исполнить к тому времени единственное, ничего не значащее поручение.

ЧАСТЬ 2

Глава первая Стан

Здесь Русью пахнет.

Пушкин

В нейгаузенской долине, где пятами своими упираются горы ливонские и псковские, проведена, кажется, самою природою граница между этими странами. Новый Городок (Нейгаузен) есть уже страж древней России: так думали и князья русские, утверждаясь на этом месте. Отважные наездники в поле, они были нередко политики дальновидные, сами не зная того.

Замок нейгаузенский построен на крутом берегу речки Лелии, передом к Лифляндии. Четыре башни по углам, соединяющая их ограда – все это грубо выведенное из дикого, неотесанного камня, довольно глубокий овраг с трех сторон, с четвертой – обделанный берег – вот вся искусственная сила этой твердыни. Зато как далеко, как зорко оглядывает она перед собою, вправо и влево, всю немецкую сторону! Все, что идет и едет от Мариенбурга, Риги и Дерпта, все движения за несколько десятков верст не укроются от сторожкого ее внимания. Только сзади господствует над нею отлогое возвышение, беспрестанно поднимающееся на две с лишком версты до гребня горы Кувшиновой; но там – сторона русская! Речка Лелия течет перед лицом замка, изгибаясь, в недалеком расстоянии, с левой стороны назад, с правой – вперед. На углу правого изгиба – насыпь (вероятно, и на левом была подобная же, но она застроена теперь корчмою); несколько таких искусственных высот, служивших русским военными укреплениями, идут лестницею по протяжению печорской дороги. Некоторые из них уцелели донныне, иные обросли рошицами, другие изрыты дождями, а может быть, и жадностью человеческого. Струи речки мелки, но шумят, строптивые, преграждены будучи множеством камней, временем брошенных в нее с высоты башен.

Вид из замка обнимает Лифляндию на несколько десятков верст: перед глазами разостлан по трем уездам край ее одежды. Прямо за речкою, в середине разлившейся широко долины, встал продолговатый холм с рощею, как островок; несколько правее, за семь верст, показывается вполосину из-за горы кирка нейгаузенская, отдаленная от русского края и ужасов войны, посещавших некогда замок; далее видны сизые, неровные возвышения к Оденпе, мызы и кирки. Левее струится из мрачной дали прямо на Нейгаузен дорога рижская, еще левее чернеет цепь гор гангофских, между которыми поднимает обнаженное чело свое, как владыка народа перед величеством бога, царь этих мест Мунна-мегги (Яйцо-гора), наблюдающий, в протяжении с лишком на сто верст, рубеж России от Мариенбурга, через Печоры, до Чудского озера и накрест свою область от Нейгаузена, через возвышения Оденпе и Сагница, до вершины гуммельсгофской. Между горами видна и знакомая нам оппекаленская кирка. Все как на блюде! Русская, однако ж, сторона закрыта отсюда скатом Кувшиновой горы, как полою шатра великолепного. Чем далее поднимаешься по этому скату, тем картина расширяется и углубляется. Глаз без помощи орудия отказывается схватить все, что она предлагает ему. На вершине Кувшиновой сильнее бьется сердце русского: с нее видишь сияние креста и темные башни печорского монастыря, место истока Славянских Ключей, родины Ольги, Изборск, и синюю площадь озера псковского. Здесь уже настоящая Русь! Только полуверцы, – обычаями, верою, языком смесь лифляндцев с русскими, – означают переход из одного края в другой.

Во время, которое описываем, замок представлял, как и ныне, одне развалины. Взорван ли он и покинут без боя шведами, безнадежными удержать его с малым стреженем, который он

мог только в себе вмещать, от нападений русских, господствовавших над ними своими полевыми укреплениями, давним правом собственности и чувством силы на родной земле; разрушен ли этот замок в осаде русскими – история нигде об этом не упоминает. Известно только, что последние в 1072 году уже владельцы Нейгаузена. Здесь и у стен печорского монастыря было сборное место русских войск, главное становище, или, говоря языком нашего века, главная квартира военачальника Шереметева; отсюда, укрепленные силами, делали они свои беглые нападения на Лифляндию; сюда, не смея еще в ней утвердиться, возвращались с победами, хотя еще без славы, с добычею без завоеваний; с чувством уже собственной силы, но не искусства. Здесь полководцы, обезопасенные упрямою беспечностью Карла, имели время обдумывать свои ошибки, готовить новые предначертания и учиться таким образом науке войны над непобедимыми того времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.